

---

## К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВЫДАЮЩЕГОСЯ РУССКОГО СОВЕТСКОГО ПОЭТА ЯРОСЛАВА ВАСИЛЬЕВИЧА СМЕЛЯКОВА

*От главного редактора.* Сейчас, когда в СМИ уже двадцать лет из всех русских и советских поэтов упоминают — и то к случаю — только троих: Ахматову, Цветаеву и Мандельштама, иногда добавляя Бродского или Пастернака, имя выдающегося советского поэта Ярослава Смелякова уже совсем незнакомо молодым поколениям. Только выпускники советских школ помнят его замечательные стихи.

Вспомним их на страницах «Приокских зорь», дополнив материалами наших постоянных авторов к Юбилею поэта.

*Алексей Яшин,  
лауреат литературной премии им. Ярослава Смелякова*

**Ярослав Смеляков**

**СТИХОТВОРЕНИЯ**



**1 ЯНВАРЯ 1941 ГОДА**

Так повелось, что в сентябре метели,  
в глухой тиши декабрьских вечеров,  
оставив лес, идут степенно ели  
к далеким окнам шумных городов.

И, веселясь, торгуют горожане  
для украшения жительниц лесных  
базарных нитей тонкое сиянье  
и грубый блеск игрушек расписных.

Откроем дверь: пусть в комнаты сегодня  
в своих расшитых валенках войдет,  
осыпан хвоей елки новогодней,  
звоня шарами, сорок первый год.

Мы все готовы к долгожданной встрече:  
в торжественной минутной тишине  
покоем дышат пламенные печи,

в ладонях елок пламенеют свечи,  
и пляшет пламень в искристом вине.

В преддверье сорок первого, вначале  
мы оценить прошедшее должны.  
Мои товарищи сороковой встречали  
не за столом, не в освещенном зале —  
в жестоком дыме северной войны.

Стихали орудийные ракеты,  
и слушал затемненный Ленинград,  
как чокались гранаты о гранату,  
штыки о штык, приклады о приклад.

Мы не забудем и не забывали,  
что батальоны наши наступали,  
неудержимо двигаясь вперед,  
как наступает легкий час рассвета,  
как после вьюги наступает лето,  
как наступает сорок первый год.

Прославлен день тот самым громким словом,  
когда, разбив тюремные оковы,  
к нам сыновья Прибалтики пришли.  
Мы рядом шли на празднестве осеннем,  
и я увидел в этом единенье  
прообраз единения земли.

Еще за то добром помянем старый,  
что он засыпал длинные амбары  
шумящим хлебом осени своей  
и отковал своей рукою спорой  
для красной авиации — моторы,  
орудия — для красных батарей.

Мы ждем гостей — пожалуйста учиться!  
Но если новью воющая птица  
с подарком прилетит пороховым —  
сотрем врага. И это так же верно,  
как то, что мы вступили в сорок первый  
и предыдущий был сороковым.

## **ЗЕМЛЯ**

Тихо прожил я жизнь человечью:  
ни бурана, ни шторма не знал,  
по волнам океана не плавал,  
в облаках и во сне не летал.

Но зато, словно юность вторую,  
полюбил я в просторном краю

эту черную землю сырую,  
эту милую землю мою.

Для нее ничего не жалея,  
я лишался покоя и сна,  
стали руки большие темнее,  
но зато посветлела она.

Чтоб ее не кручинились кручи  
и глядела она веселей,  
я возил ее в тачке скрипучей,  
так, как женщины возят детей.

Я себя признаю виноватым,  
но прощенья не требую в том,  
что ее подымал я лопатой  
и валил на колени кайлом.

Ведь и сам я, от счастья бледнея,  
зажимая гранату свою,  
в полный рост поднимался над нею  
и, простреленный, падал в бою.

Ты дала мне вершину и бездну,  
подарила свою широту.  
Стал я сильным, как терн, и железным  
даже окиси привкус во рту.

Даже жесткие эти морщины,  
что по лбу и по щекам прошли,  
как отцовские руки у сына,  
по наследству я взял у земли.

Человек с голубыми глазами,  
не стыжусь и не радуюсь я,  
что осталась земля под ногтями  
и под сердцем осталась земля.

Ты мне небом и волнами стала,  
колыбель и последний приют...  
Видно, значишь ты в жизни немало,  
если жизнь за тебя отдают.

## **МАМА**

Добрая моя мать. Добра, сердечна.  
Приди к ней — увенчанный и увечный —  
делиться удачей, печаль скрывать —  
чайник согреет, обед поставит,  
выслушает, ночевать оставит:  
сама — на сундук, а гостям — кровать.

Старенькая. Ведь видала виды,  
знала обманы, хулу, обиды.  
Но не пошло ей ученье впрок.  
Окна погасли. Фонарь погашен.  
Только до позднего в комнате нашей  
теплится радостный огонек.

Это она над письмом склонилась.  
Не позабыла, не поленилась —  
пишет ответы во все края:  
кого — пожалеет, кого — поздравит,  
кого — подбодрит, а кого — поправит.  
Совесь людская. Мама моя.

Долго сидит она над тетрадкой,  
отодвигая седую прядку  
(дельная — рано ей на покой),  
глаз утомленных не закрывая,  
ближних и дальних обогревая  
своею лучистою добротой.

Всех бы приветила, всех сдружила,  
всех бы знакомых переженила.  
Всех бы людей за столом собрать,  
а самой оказаться — как будто! — лишней,  
сесть в уголок и оттуда неслышно  
за шумным праздником наблюдать.

Мне бы с тобою все время ладить,  
все бы морщины твои разгладить.  
Может, затем и стихи пишу,  
что, сознавая мужскую силу,  
так, как у сердца меня носила,  
в сердце своем я тебя ношу.

\* \* \*

Мальчики, пришедшие в апреле  
в шумный мир журналов и газет,  
здорово мы все же постарели  
за каких-то три десятка лет.

Где оно, прекрасное волненье,  
острое, как потаенный нож,  
в день, когда свое стихотворенье  
ты теперь в редакцию несешь?

Ах, куда там! Мы ведь нынче сами,  
важно въехав в загородный дом,  
стали вроде бы учителями  
и советы мальчикам даем.

От меня дорожкой зеленой,  
источая ненависть и свет,  
каждый день уходит вознесенный  
или уничтоженный поэт.

Он ушел, а мне не стало лучше.  
На столе — раскрытая тетрадь.  
Кто придет и кто меня научит,  
как мне жить и как стихи писать?

### **ХОРОШАЯ ДЕВОЧКА ЛИДА**

Вдоль маленьких домиков белых  
акация душно цветет.  
Хорошая девочка Лида  
на улице Южной живет.

Ее золотые косицы  
затянуты, будто жгуты.  
По платью, по синему ситцу,  
как в поле, мелькают цветы.

И вовсе, представьте, неплохо,  
что рыжий пройдоха апрель  
бесшумной пыльюю веснушек  
засыпал ей утром постель.

Не зря с одобреньем веселым  
соседи глядят из окна,  
когда на занятия в школу  
с портфелем проходит она.

В оконном стекле отражаясь,  
по миру, идет не спеша  
хорошая девочка Лида.  
Да чем она хороша?

Спросите об этом мальчишку,  
что в доме напротив живет.  
Он с именем этим ложится  
и с именем этим встает.

Недаром на каменных плитах,  
где милый ботинок ступал,  
«Хорошая девочка Лида»,—  
в отчаяньи он написал.

Не может людей не растрогать  
мальчишки упрямого пыл.  
Так Пушкин влюблялся, должно быть,  
так Гейне, наверное, любил.

Он вырастет, станет известным,  
покинет пенаты свои.  
Окажется улица тесной  
для этой огромной любви.

Преграды влюбленному нету:  
смущенье и робость — вранье!  
На всех перекрестках планеты  
напишет он имя ее.

На полюсе Южном — огнями,  
пшеницей — в кубанских степях,  
на русских полянах — цветами  
и пеной морской — на морях.

Он в небо залезет ночное,  
все пальцы себе обожжет,  
но вскоре над тихой Землею  
созвездие Лиды взойдет.

Пусть будут ночами светиться  
над снами твоими, Москва,  
на синих небесных страницах  
красивые эти слова.

*(Подборка Марины Баланюк)*



**Николай Боев**  
(г. Узловая)



## **ДЕРЖАВНЫЙ ПОЭТ**

*Николай Боев родился в с. Щукавка Воронежской области. После сельской семилетки учился в ремесленном училище, в вечерней школе, техникуме, окончил МГУ им. М. Ломоносова и Высшую партийную школу.*

*15 лет отработал на узловском машиностроительном заводе, пройдя путь от слесаря-сборщика до заместителя начальника крупного цеха. Был журналистом газеты и радио, работал социологом НИИ, преподавателем и зам. директора техникума. 18 лет преподавал гуманитарные науки на вечернем отделении Тульского политехнического института. Работал лесорубом в Сибири, строителем на Севере и в Средней полосе России. Он автор многочисленных книг поэзии и прозы, лауреат литературной премии им. Л. Н. Толстого, всероссийской премии «Левша» им. Н. С. Лескова и многих других.*

## **ЯРОСЛАВ СМЕЛЯКОВ В НОВОМОСКОВСКЕ**

(журнальный вариант)

С 16 лет имя поэта Я. В. Смелякова становится известно москвичам.

С 18 лет он издает первую книгу и о юном поэте узнает вся Россия.

В 20 лет его слава приближается к славе гениальных Сергея Есенина, Павла Васильева, Бориса Корнилова. Но «вихри враждебные», носившиеся над страной, закрутили и юного поэта. Следуют аресты за арестами. Три судимости, почти двадцать лет забвения. Но его стихи помнила страна, они из рук в руки передавались в зачитанных списках.

После войны опальный поэт волею рока и судьбы оказался в Новомосковске. О судьбе поэта, о его влиянии на литературную жизнь Мосбасса эта книга.

Когда Павел Васильев в 1929 году появился в Москве, с ним вскоре познакомился совсем юный Ярослав Смеляков и обжегся его жарким пламенем.

Ярослав Васильевич не любил рассказывать о себе. Возможно, ему не хотелось ворошить тяжелые годы, страшные изломы своей судьбы. Вот почему в одном из стихотворений он, то ли с грустью, то ли иронически написал: «Тихо прожил я жизнь человечью...» Тихо...

В двухтомнике «Избранное» (Издательство «Художественная литература», М., 1970) во втором томе есть раздел «Литературные заметки». Их открывают редкие для поэта автобиографические сведения о литературном пути, названные им просто и ясно — «Несколько слов о себе». Он пишет, что родился в Москве в 1913 году. Начал «...писать, или, вернее, сочинять, стихи, как и очень многие люди, в самом раннем детстве. Учился в московской семилетке...»

В 1930 году биржа труда подростков дала ему направление в полиграфическую фабрично-заводскую школу. Помещал стихи в стенгазете, читал на различных митингах и стал поэтом, известным не только в стенах учебного заведения. С упоением читал русских классиков.

Очень странное утверждение Ярослава Васильевича о том, что он родился в Москве. Не исключено сокрытие им какой-то тайны. В его жизни и творчестве хватает загадок и нераскрытых тайн...

Когда с Я. В. Смелякова сняли все судимости и полностью его реабилитировали, о нем вновь заговорили критики, как о выдающемся советском поэте. Начали искать истоки его творчества, пытаясь понять притягательную силу поэзии мастера слова. Наиболее полно ответить на сложный вопрос удалось известному критику Валерию Дементьеву. В книге «Ярослав Смеляков. Сильный как терн» (Издательство «Советская Россия» Москва — 1967) он, по цензурным соображениям, вскользь упоминает о трагических изломах биографии поэта. Но что интересно, именно ему Ярослав Васильевич рассказал: «Родился я в Луцке. Отец, Смеляков Василий Е. (?) был весовщиком железнодорожной станции, мать, Ольга Васильевна подымала троих детей, вела домашнее хозяйство. Вскоре после моего рождения началась мировая война, и мы вынуждены были выехать вначале в деревню, к родным матери, а затем в Воронеж, где и прожили до начала 20-х годов».

Любопытно, что о раннем детстве он почти ничего не написал в своем творчестве. Пожалуй единственным воспоминанием является стихотворение «Возвращенной родине». Он написал его в день вступления Красной армии в Луцк 17 сентября 1939 года:

*Мне голос детства памятен и слышен.  
Хранится смутно в памяти моей  
гуденье липы и цветенье вишен,  
торговцев крик и ржанье лошадей.  
Мне помнится вечерние затоны,  
вельможные брюхатые пань,  
сияющие крылья фазанов  
и офицеров красные штаны.  
Здесь я и рос...*

Правильно заметил В. В. Дементьев: «Два-три красочных пятна в переданном стихотворении,— вот, пожалуй, и все воспоминания первых детских лет. Отдаленно вспоминается Смеляковым глухая, засыпанная снегами деревенька, где в первые он стал сочинять какое-то подобие стихов и где он узнал красоту деревенской природы и радость деревенских забав: поездки в ночное, набег на соседские сады, походы в лес за ягодами и грибами».

Его приобщение к поэзии можно понять из пронзительной исповеди в статье «Михаил Лермонтов», написанной в 1964 году.

«Больше сорока лет прошло с тех пор, как я при зыбком и узком свете копилки времен гражданской войны впервые читал Лермонтова. Мне тогда было лет девять или десять, но я и сейчас помню, каким недетским ужасом и восхищением пронзили меня «Песня о купце Калашникове», «Мцыри».

И вот Лермонтов опять у меня на столе.

Я перечитываю — в который раз — его стихотворения с тем, чтобы написать что-то вроде статьи или хотя бы просто заметок. Я пытаюсь сосредоточиться, анализировать, делать выписки, какие мне пригодятся,— и не могу.

Опять стихия его литературы несет мое послушное суденышко по своим океанским волнам. Какие тут, к черту, исследования и анализ! Тут самому бы не задохнуться этим плотным мокрым ветром, самому бы устоять на склизкой дощатой палубе.



Снова я чувствую тогдашним девятилетним мальчиком. Разве что прибавилось ума и опыта, но ведь не настолько, чтобы спокойно и рассудительно, как это делают иные люди, рассматривать и разьяснять Лермонтова.

Он был гением. Кто-то дал такое определение гения: талант плюс труд. К сожалению это неверно. Гений — это гений плюс работа»...

Семья Смеляковых жила в Воронеже. Ярославу было одиннадцать лет, когда умер отец. Он уезжает в Москву к старшим брату и сестре, студентам университета. Здесь он продолжил учебу в семилетней школе. Вскоре к ним переехала мать и стала жить на Большой Молчановке. Ярослав Васильевич привык к столичной жизни и стал считать Москву своим родным городом.

Страна еще не залечила раны, нанесенные ей гражданской войной. Не ликвидирована и безработица. Для помощи по трудоустройству безработных существовала биржа труда. В нее и обратился Ярослав Васильевич после окончания семилетки. В поисках заработка он не чурался никакой работы, выполняя то обязанности дворника, то истопника.

В 1930 году биржа труда подростков дала ему направление в полиграфическую фабрично-заводскую школу. В предисловии к книге «Стихи» в 1961 году Ярослав Васильевич с большой любовью вспоминает:

«В стенах этой школы, помещавшейся в Сокольниках, все мы с упоением дышали комсомольской атмосферой начала пятилеток. Верстатки и реалы, субботники, митинги, лыжные вылазки, стенные газеты, агитбригады — вот что целиком наполняло нашу жизнь».

В школе он окончательно и бесповоротно окунулся с головой в мир поэзии. Пишет много. Помещает свои стихи в стенгазетах, читает их на многочисленных собраниях и митингах. Молодой поэт становится известным не только в стенах родного учебного заведения.

Понимая несовершенство своего творчества, он осознает необходимость учебы, в первую очередь, у великих русских классиков. Его очаровали Пушкин, Лермонтов, Блок, Есенин. Он регулярно ездил через всю Москву на занятия литературного кружка при газете «Комсомольская правда». С друзьями доставали билеты на все вечера поэзии, он много раз видел и слышал живого гениального В. В. Маяковского и влюбился в его творчество, боготворил его. Со временем Ярослав Васильевич посвятит поэту два прекрасных стихотворения, прямо или косвенно расскажет о нем еще в некоторых стихах и поэмах, во многих статьях.

Товарищ, в последствии известный журналист Всеволод Иорданский, уговорил отнести стихи в молодежный журнал «Рост». Его редакция помещалась под одной крышей и на одном этаже с журналом «Октябрь». Они перепутали двери и попали во взрослый журнал к Михаилу Светлову.

«К нашему восторгу и удивлению,— пишет Ярослав Васильевич,— он принял это стихотворение для «Октября» и только в порядке назидательности велел переделать две последние строчки... Две эти последние строчки я никак не мог переделать и, несмотря на свою влюбленность в литературу, решился на хитрость: будь что будет! Я опять пришел в Светлову и принес ему прежний листок. Конечно же, он забыл о своем замечании и, доброжелательно улыбаясь, сказал: «Ну теперь все в порядке».

В эти дни группу наборщиков досрочно выпустили из школы и Я. Смеляков попал на самостоятельную работу в 14 типографию, где и печатался «Октябрь».

«Я был прямо-таки ошеломлен, когда на второй или третий день мастер дал мне, совершенно случайно, набирать страницы «Октября», среди которых находилось и мое стихотворение. Кстати, позднее в этой же типографии я целиком набрал свою книжку стихов «Работа и любовь».

Одновременно Ярослав Васильевич занимался и в литературном объединении

при журнале «Огонек», которое возглавлял заместитель редактора, известный писатель Ефим Зозуля.

«ОГОНЕК»

*Зимой или в начале мая  
я в жажде стихотворных строк  
спешил с работы на трамвае  
туда, в заветный «Огонек».*

*Там двери — все — не запирались,  
там в час, когда сгущалась мгла,  
на праздник песни собирались  
мальчишки круглого стола.*

*Мы все друг дружку уважали  
за наши сладкие грехи,  
и голоса у всех дрожали,  
читая новые стихи.*

*Там, плечи жирные сутуля,  
нерукотворно, как во сне,  
руководил Ефим Зозуля  
в своем внимательном пенсне.*

*Там, в кольцах дыма голубого,  
все понимая наперед,  
вitalа молча тень Кольцова,  
благославляя наш народ.*

*Мы были очень молодые,  
хоть эта малая вина.  
Теперь едва не всей России  
известны наши имена.*

*Еженедельник тонколицый,  
нам отдавал свои страницы  
и нас наружу выпускал.*

*Мы бурно вырвались на волю,  
раздвинув ширь своих орбит.  
В могилах братских в чистом поле  
немало тех ребят лежит.*

*Я был влюблен, как те поэты,  
в дымящем трубами краю  
не в Дездемону, не в Джульетту —  
в страну прекрасную свою.*

*Еще пока хватает силы,  
могу открыть любую дверь,—  
любовь нисколько не остыла,  
лишь стала сдержанней теперь.*

Здесь Ярослав Васильевич и познакомился с будущими известными литераторами: Сергеем Михалковым, Львом Ошаниным, Сергеем Васильевым, Маргаритой Алигер, Александром Коваленковым.

Ярослав Васильевич пишет: «Тема молодежи, тема рабочего класса остается до сих пор главной, преобладающей темой моей работы». И больше, по сути дела, из своей биографии ничего не приводит. Вроде бы жил спокойно, работал да писал стихи. «Тихо прожил я жизнь человечью». Как бы не так! Безжалостный век наиболее тяжело проутюжил и его. Он остался жив..., но прежде...

Книга «Работа и любовь» вывела восемнадцатилетнего поэта в ряд наиболее талантливых молодых литераторов.

Многие стихи этой книги, такие как «Смерть бригадира», «Любовь», «Вор», «Любка» и другие стали очень популярны среди молодежи: их переписывали в заветную тетрадь, они ходили по рукам в списках, читались со сцены в сельских клубах и городских домах культуры. Он стал кумиром молодежи...

После реабилитации поэта Государственное издательство художественной литературы выпустило его значительную книгу «Избранные стихи». Мне посчастливилось приобрести ее. Раскрыл обложку. В уголке уже поблекшая надпись: «Книжный магазин г. Узловая. 6/VI-1957». Я жил в рабочем общежитии, читал запоем классиков и современных поэтов. Стихи Ярослава Васильевича буквально ошеломили меня своей непридуманностью, искренними чувствами и естественностью жизни рабочего класса, молодежи. Мои друзья — товарищи по общежитию также с большим интересом читали и перечитывали книгу...

Много лет спустя неоднократно заходил у нас с Н. К. Старшиновым разговор о поэте. Когда я ему рассказал о приобщении к творчеству Я. В. Смелякова, он задумчиво произнес: «Ярослав Васильевич — классик советской поэзии. В литературном объединении перед войной мы тоже передавали друг другу книги и списки его стихов. В то время поэт находился в заключении и творчество его считалось враждебным».

В начале тридцатых годов XX века одним из самых значительных поэтов являлся Н. Клюев. Летом 1932 года он перебрался из подвальной комнатки Ленинграда в полуподвальную комнатку Москвы, признанный учитель притягивал к себе молодых литераторов. У него часто встречались Ольга Бергольц, Борис Корнилов, Николай Заболоцкий, Александр Прокофьев, Семен Липкин, Ярослав Смеляков. Последний здесь близко сошелся с П. Васильевым, Б. Корниловым, О. Мандельштамом, С. Клычковым. Сошелся, чтобы, как и они, нести свой тяжкий Крест...

В 1932 году Павел Васильев второй раз подвергся аресту. Растерянный, измученный бесконечными допросами, длившимися бессонными сутками, поэт «изливает» свою душу следователю: реальность густо перемешана с вымыслом — он великий фантазер! Следователь поощряет его сказки и раздувает целый заговор «сибирской бригады». На заметку берутся и многие москвичи, в том числе и друг Павла Васильева Ярослав Смеляков. Фантазерство молодого поэта обернется непоправимой трагедией для многих литераторов. В их число попадет Ярослав Васильевич. И на этот раз П. Васильев «за свои заслуги на следствии» отделается испугом — его освободят из-под ареста...

После возвращения на родину М. Горький пытается взять на себя роль литературного вождя. За границей верный ленинец вступил в масоны. Он пытается привить молодежи революционную идеологию, объединить под своим крылом все группы и группки литераторов. Намечается их съезд и организация Союза писателей. Цель ясна: передовой отряд вольнолюбивой творческой интеллигенции ввести в рамки задач партии и политико-идеологической цензуры. Съезд готовится основательно.

14 июня 1934 года в «Правде» публикуется «знаменитая» статья М. Горького «Литературные забавы». Всей тяжестью своего авторитета он обрушивается на молодых поэтов, ведущих богемный образ жизни. Начинается она строгим учительским тоном:

«Считаю нужным поговорить о литературных нравах. Думаю, что это вполне уместно накануне съезда писателей и в дни организации Союза их.

Нравы у нас, мягко говоря, плохие. Плоховатость их объясняется прежде всего тем, что все еще не изжиты настроения групповые, что литераторы делятся на «наших» и «не наших», а это создает людей, которые сообразно дряненьким выгодам своим служат и «нашим» и «вашим»...

Дальше карающий меч классика поднимается все выше и выше для нанесения разящего удара.

«Условия, в создании которых я не считаю себя виноватым, на меня возложили роль мешка, в который суют и сыпают свои устные и письменные жалобы люди, обиженные или встревоженные некоторыми постыдными явлениями в литературной жизни. Не могу сказать, что роль эта нравится мне, но, разумеется, обилие жалоб тревожит меня.

Жалуются, что Павел Васильев хулиганит хуже, чем хулиганил Сергей Есенин. Но в то время как одни порицают хулигана, другие восхищаются его даровитостью, «широтой натуры», его «кондовой кулацкой силищей» и так далее. Но порицающие ничего не делают для того, чтобы обеззаразить свою среду от присутствующего в ней хулигана, хотя ясно, что, если он действительно является заразным началом, его следует как-то изолировать. А те, которые восхищаются талантом П. Васильева, не делают никаких попыток, чтобы перевоспитать его. Вывод отсюда ясен: и те и другие социально пассивны, и те и другие, по существу своему, равнодушно «взирают» на порчу литературных нравов, на отравление молодежи хулиганством, хотя от хулиганства до фашизма расстояние «короче воробьиного носа».

Недавно один из литераторов передал мне письмо к нему партийца, ознакомившегося с писательской ячейкой комсомола.

...Несомнены чуждые влияния на самую талантливую часть литературной молодежи. Конкретно: на характеристике молодого поэта Яр. Смелякова все более и более отражаются личные качества Павла Васильева. Нет ничего грязнее этого оскала буржуазно-литературной богемы. Политически (это не ново знающим творчество Васильева) — это враг. Мне известно, что со Смеляковым, Долматовским и некоторыми другими молодыми поэтами Васильев дружен, и мне понятно, почему от Смелякова редко не пахнет водкой, и в тоне Смелякова начинают доминировать нотки анархо-индивидуалистической самовлюбленности, и поведение Смелякова все менее и менее становится комсомольским...»

Донос составлен в форме приговора. Осталось приговор привести в исполнение...

Справедливости ради надо сказать широкому читателю, что почти все творческие люди отличаются неординарным поведением, импульсивностью, неукротимым нравом — начиная с великого А. С. Пушкина и его тридцати двух дуэлей. С годами менялась «мода». В XX веке спутниками подавляющего большинства не только талантливых, но и гениальных людей становятся наркотические вещества — алкоголь и табак. Алкоголизму были подвержены А. Блок (в конце жизни), С. Есенин, П. Васильев, Я. Смеляков, А. Твардовский, А. Фадеев и многие-многие другие известные литераторы. Из более молодых поколений трезвенников среди творческих людей найти трудно..., если талантливы. Периодически они запивают...

Не лучше обстоят дела и среди других творческих профессий. Постоянное нервное напряжение, преодоление себя, без чего невозможно серьезное творчество, приводит к стрессам. Эффективного лекарства от них, кроме упомянутых, нет. И за это не стоит судить таланты. Как известно, они и так многое теряют в жизни. Но судьбу не выбирают.

После очередного «заскока», в процессе которого нервная система получает передышку, наступает светлая полоса. Измученный организм, преодолев стресс, вызывает небывалый прилив творческих сил, балансируя на грани жизни и смерти. Перед стрессами и после них иногда рождаются шедевры. Истинная поэзия создается на грани жизни и смерти...

После горьковского (горького) доноса уже послушная печать обрушилась всей тяжестью «революционной бдительности» на гениального П. Васильева, попутно придавливая его друзей и, в частности, Я. Смелякова.

С. С. Куняев точно подметил:

«...Время неумолимо поворачивало свой ход, и Васильев оставался, пожалуй, последним яростным певцом-романтиком переделки мира по «новому штату» (достоевские мальчики!), искренне и ярко воспевающим этот передел, в чьих стихах разрушительный пафос органически соединялся с пафосом столь же яростной скорби по миру уходящему, в строчках которого ликующий крик органически соединился со звериным стоном прощания и плача по безвозвратно утерянному.

Этим он кардинально отличался от молодых, так же, как и он, вкусивших первые плоды славы, поэтов тех лет, ставших его близкими друзьями — Бориса Корнилова и Ярослава Смелякова.

*Мы шли втроем с рогатиной на слово  
и вместе слезли с тройки удалой —  
три мальчика,  
три козыря бубновых,  
три витязя бильярда и пивной.*

*Был первый точно беркут на рассвете,  
летающий за трепещущей лисой.  
Второй был неожиданным,  
а третий —  
угрюмый, бледнолицый и худой.*

*Я был тогда сутулым и угрюмым,  
хоть мне в игре  
пока еще — везло,  
уже тогда предчувствия и думы  
избороздили юное чело.*

*А был вторым поэт Борис Корнилов —  
я и в стихах и в прозе написал,  
что он тогда у общего кормила,  
недвижно скособочившись стоял.*

*А первым был поэт Васильев Папка,  
латоволосый хищник ножевой —  
не маргариткой вышита рубашка,  
а крестиком — почти за упокой.*

*Мы вместе жили, словно бы артельно,  
но вроде бы, пожалуй что,  
не так —  
стихи писали разное и отдельно,  
а гонорар несли в один кабак.*

Такие стихи написал уже в 1967 году прошедший все круги ада, битый жизнью Ярослав Смеляков. А тогда он, выпускник фабрично-заводской школы, только что издавший первую книгу стихов «Работа и любовь», с открытым ртом и горящими от восхищения глазами слушал васильевские стихи, был его неизменным спутником, верным другом и, что греха таить, собутыльником. Корнилов жил в Ленинграде и появлялся в Москве периодически, тогда как Васильев и Смеляков встречались чуть ли не ежедневно, читали друг другу новые стихи, бродили по редакциям журналов, по книжным

магазинам, неизменно поднимая руку в знак приветствия, когда проходили мимо памятника первопечатнику Ивану Федорову. И «гонорар несли в один кабак»...

Припомнят им все и кабаки. На долгие годы фамилии трех самых значительных поэтов России попытаются вычеркнуть из русской литературы. Но они были талантливы до гениальности — их «рукописи не горят».

В статье «Борис Корнилов» Я. В. Смеляков напишет:

«Государственное издательство художественной литературы выпустило в 1963 году небольшую книжку стихотворений и поэм Бориса Корнилова, погибшего в конце 30-х годов.

И моя жизнь, и мое творчество тех, уже далеких лет очень близко связаны с жизнью и работой Бориса Корнилова. Вряд ли мне удалось бы, если бы я даже этого захотел, спокойно и объективно отрецензировать сборник своего друга.

Он был несколько старше меня. А мне было только восемнадцать или девятнадцать лет, когда мы познакомились. Он жил в Ленинграде, я — в Москве, и, следовательно, встречались мы не часто. Но во время его приездов в Москву и в дни нескольких моих поездок в Ленинград мы почти не расставались.

Он был меня старше не только по возрасту, а и по мастерству, по знанию языка, по призванию: его уже три года шумно принимали слушатели переполненных аудиторий, высоко ставили знатоки литературы. Я ходил и ездил вместе с ним как младший брат, и не однажды мое мальчишеское сердце сжималось от бескорыстной зависти, когда я слушал на литературном вечере или за дружеским столом его стихи или когда разворачивал страницы газет и журналов, где были напечатаны строки Корнилова.

И теперь, спустя три десятилетия, я с братской гордостью перечитываю лучшие стихотворения и поэмы, вошедшие в гослитовский сборник. Оказывается, мы, молодые и в то время уже много умели и много могли!

Вот поэма «Триполье». Помню, как, довольный удавшейся работой, Борис Корнилов привез ее в Москву; кажется, это было весной. Во всяком случае, и сейчас я вижу его большое счастливое лицо, залитое солнцем: он вернулся из ЦК ВЛКСМ, где под председательством Косарева проводилось обсуждение «Триполья» и было решено издать поэму в «Молодой гвардии»...

...Моя рецензия была бы неполной, если бы я не упомянул о песенке Корнилова «Не спи, вставай, кудрявая!». Ее не могли заглушить. Она, сопровождаемая музыкой Шостаковича, вырвалась на такие просторы, что чиновники тех времен не смогли ухватить ее за хвост и вернуть в небытие. Не такая уж беда, что автор долгое время был неизвестен,— гораздо большая радость, что его слова долгое время после его смерти и сейчас звучат над нашей землей...

...В своем предисловии к сборнику Ольга Бергольц пишет:

«Если бы не бессмысленная гибель, настигшая Бориса Корнилова в то время, когда он начал по-настоящему набирать высоту, вероятно, он стал бы очень крупным поэтом».

Мы целиком согласны с этим. Как согласны и с тем, что Бергольц говорит дальше:

«Но будем благодарны ему и за то, что он успел сделать...», 1963.

И «гонорар несли в один кабак», и вместе сидели на жестких скамейках милицеских отделений за те или иные провинности.

Так однажды, после очередного «выяснения отношений» в литературном кругу, Васильев и Смеляков, а с ними еще двое стихотворцев, всю ночь читали в милиции все недавно написанное, а Ярослав покорила стражей порядком исполнением своей знаменитой на всю Москву «Любки Фейгельман».

*Посредине лета  
высыхают губы.  
Отойдем в сторонку,  
сядем на диван.*

*Вспомним, погорюем,  
сядем, моя Люба.  
Сядем посмеемся  
Любка Фейгельман!*

*Гражданин Вертинский  
вертится. Спокойно  
девочки танцуют  
английский фокстрот.  
Я не понимаю,  
что это такое,  
как это такое  
за сердце берет?*

.....

*Только мне обидно  
за своих поэтов.  
Я своих поэтов  
знаю наизусть.  
Как же это вышло,  
что июньским летом  
слушают ребята  
импортную грусть?*

.....

*Я еще не видел,  
чтоб ты так ходила —  
в кенгуровой шляпе,  
в кофте голубой.  
Чтоб ты провалилась,  
если все забыла,  
если ты смеешься  
нынче надо мной.*

Рано утром на пороге отделения появилась та самая Любка Фейгельман — спасти своего любимого и его друзей. Все в тот раз и кончилось сравнительно благополучно» — (Л. Фейгельман — из дзержинцев — Н. Б.). Друзья-товарищи еще неоднажды попадут в поле зрения правоохранительных органов. Судьбу не выбирают.

Первый съезд писателей Советского Союза начал свою работу 17 августа 1934 года. Основным докладчиком первоначально планировался друг В. Маяковского — Николай Асеев. М. Горький предложил, а Сталин одобрил заменить поэта на видного партийного деятеля — Николая Бухарина. И в докладе «любимица партии», и в выступлениях подголосков по полной программе досталось Павлу Васильеву (на съезд его не пригласили). Не обошли «доброжелатели» своим вниманием и кумира рабочей молодежи Ярослава Смелякова, присутствующего на всех заседаниях.

Очень правильные партийные мысли излагали ораторы с трибуны. Но вот в кулуарах агенты секретно-политического отдела ГУГБ НКВД СССР фиксировали прямо противоположные взгляды на текущий литературный процесс.

«М. М. Пришвин: Все думаю, как бы поскорее уехать,— скука невыносимая, но

отъезд осложняется: становлюсь на виду,— дал портрет в «Вечерке», берут интервью, находятся десятки поклонников,— Динамов, Ставский.

Ставский даже настойчиво просил выступить: «Надо,— говорит,— Михаил Михайлович, немножко встряхнуть съезд». Я ему ответил на это: «Надо-то надо, да обидно, что в числе 52 писателей для меня не нашлось все-таки места в президиуме».

Все время чувствую от этого какую-то нехорошую горечь.

А. Новиков-Прибой: Сижу и слушаю с болью: по речам и докладам — все хорошо, а для того, кто, как я, знает теперешнюю литературную обстановку,— настоящий тупик. Наступает период окончательной бюрократизации литературы. На днях я был, например, в новом издательстве «Советский писатель» и ушел оттуда с самым горьким чувством. Пробовал заступиться за рассыпанные книги Правдухина и Зингера и в ответ получил: «У меня есть приказ, что нужно печатать лучшее из лучших». В числе же этого «лучшего» печатается книга Шилькредта, которого печатают только за то, что он «оттуда». Приказы в литературе — последнее дело».

Бабель: Мы должны демонстрировать миру единодушие литературных сил Союза. А так как все это делается искусственно, из-под палки, то съезд проходит мертво, как царский парад, и этому параду, конечно, никто за границей не верит... Посмотрите на Горького и Демьяна Бедного. Они ненавидят друг друга, а на съезде сидят рядом, как голубки. Я воображаю, с каким наслаждением они повели бы в бой на этом съезде каждый свою группу.

Смеляков: Собственно говоря, здесь устроили банкет затем, чтобы поэты могли договориться о месте «Николаю угоднику Бухарину».

Агенты «карающего меча» зафиксировали критические замечания, высказанные в перерывах съезда, многих литераторов. На допросах потом им припомнят все...

Три молодых сокола встали на крыло, но парить им оставалось всего немного. Они даже не успели набрать высоту: раздался залп. Для двоих он оказался смертельным, а третьему жестоко обожгло крылья, обуглило сердце.

«Тихо прожил я жизнь человечью...»

Что это, самоирония? Признание правоты эпохи? Он очень любил родину, русскую землю, жизнь и принимал ее такой, какой она есть.

К 1934 году Ярослав Васильевич издал пять книг стихотворений. Помимо этого «Работа и любовь» выдержала еще несколько переизданий. Комсомольский поэт достиг небывалой популярности. Также популярен и Борис Корнилов. Их даже не могла заслонить тень могучего таланта Павла Васильева. В то же время всем троим приговорен Русский Крест. Арестован Павел Васильев. Сгущаются тучи над Борисом Корниловым. В каких только грехах их не обвиняют! Так профессиональный литературный эксперт Лубянки Н. Лесючевский, загубивший своим «профессионализмом» не одного русского поэта, выносит приговор всему творчеству Б. Корнилова:

«...Корнилов старательно придает стихотворению неопределенность, расплывчатость..., пытается замаскировать подлинный контрреволюционный смысл своих произведений...».

Все трое вышли из деревень. Недругам это явится дополнительным стимулом для сгущения красок. Их обвиняют не только в «есенинщине», но и припишут звания «певцов-подкулачников». А контрреволюционная деятельность — клеймо всех честных россиян, кроме сионистов, 30-х годов.

Попавших в беду поэтов, как мог, защищал Генеральный секретарь ЦК ВЛКСМ А. Косарев. Но и ему уже отлита пуля...

Ярослава Васильевича арестовали в декабре 1934 года. Как бригадира краснознаменной бригады, его освободят через три года досрочно. В 1938 году его начинают публиковать в газетах и журналах. Отмечают стихи, написанные «не только сердцем, но и умом».



Только через четырнадцать лет выйдет новая книга Я. В. Смелякова «Кремлевские ели». Она явилась лучшей книгой из всех изданных, стала литературным явлением страны и вновь «открыла» всесоюзному читателю большого русского поэта. Ярослав Васильевич встал в ряд самых значительных поэтов своего времени, получил широкую известность.

Но это произойдет потом, а пока над миром грянула война...

В мае 1941 года рядовой Я. В. Смеляков был призван в армию. История войны на финляндском направлении, по словам В. В. Дементьева, говорит: «Вторая легкострелковая бригада была направлена в Карелию. Там, на Петрозаводском направлении, фронтовая обстановка сложилась крайне тяжелой. Под давлением превосходящих сил противника наши части отступали. Таяли людские резервы. Не хватало боеприпасов и техники. Уже явственно обозначились очертания гигантского огненного кольца, охватившего дальние и ближние подступы к Ленинграду. В эти трудные для всего Карельского фронта дни осенью 1941 года Вторая легкострелковая бригада, в которой служил Я. Смеляков, вела кровопролитные бои под Медвежьей горой. Но силы были неравными: бригада несла большие потери убитыми, ранеными, пропавшими без вести. В одной из схваток под Медвежьей горой прямо в окопах, полузасыпанный, оглушенный артиллерийским обстрелом, Смеляков оказался в плену противника.

Плен есть плен — со своим бытом без быта, с постоянным унижением человеческого достоинства, с непроходящим изнуряющим чувством голода.

... На занятиях литературного объединения С. Я. Поздняков часто рассказывал о творческом пути друга, но всего несколько раз скупно отвечал на наши неизменные вопросы о трагической судьбе поэта. Да и время откровений еще не наступило, а до «гласности» наших дней, ее безумия и нам не всем довелось дожить. Но постепенно у нас проявилась скрытая часть биографии поэта. Вот как отложилась она у А. М. Меситова:

«Отогревшись у Степана Позднякова в его коммуналке, он иногда рассказывал своим глуховатым голосом, изредка делая глубокие затяжки (курил он тогда папиросы).

Их, пленных, конвоировали немцы с лютыми черными овчарками. Смеляков шел крайним в четверке и время от времени отрывал взгляд от дороги, от своих ног и угрюмо, тяжело смотрел на конвоира. Тот сразу же подскочил к Ярославу и несколько раз тыльником автомата с размаху ударил его по зубам. Смеляков утирал кровь с разбитых губ и через минуту снова поднимал взор на фашиста. Тот тут же снова принимался лупить тяжелым железным прикладом. И так несколько раз. Пока сосед Смелякова с жаром и отчаяньем не зашептал. «Да не гляди ты так на него, Христа ради, ведь забудет же насмерть...».

Представьте себе, что это был за взгляд, за который вышибли половину зубов и чуть не убили.

А вот Солженицын пишет, что у него в такой же ситуации конвоир вел себя иначе, даже чемоданчик с вещами помог донести. То ли фашисты были разными, то ли два писателя на врага разным взглядом смотрели.

Да, он был державным поэтом. Вспомните его строки:

*Сутулый, худой, бритолицый,  
Уже не боюсь ни черта,  
По улицам зимней столицы  
Иду, как Иван Калита.*

Очевидцы свидетельствовали, что в плену Ярослав Васильевич вел себя достойно — «...я унижаться не умею...». Он смело вступал в переговоры с администрацией

лагеря, когда создавалась конфликтная ситуация. Не однажды вставал на защиту человеческого достоинства своих товарищей по несчастью. Хлебнул лиха поэт за три долгих года неволи...

Неудержимая Советская Армия сломала хребет фашистской армаде, включавшей в себя, по сути дела, все силы Европы, в том числе и Финляндию. Когда уже четко обозначился крах зарвавшегося захватчика, многие страны стали выходить из повиновения гитлеровской Германии. Перед угрозой быть окончательно разгромленной, Финляндия запросила мира. Глубокой осенью 1944 года высокие договаривающиеся стороны произвели обмен военнопленных.

Много позже В. В. Дементьев в рассказе о Я. В. Смелякове повествует о том времени и местах, где находился в неволе поэт:

«Как-то мы работали возле небольшой железнодорожной станции. Название я не помню: оно было длинным и труднопроизносимым. «Что это?» — спросил я через переводчика у финского офицера, как и я, сапера-подрывника. Он хмуро посмотрел на ряды невысоких кольшков с фанерными дощечками и какими-то цифрами, потом, отведя глаза в сторону, ответил: «Это могилы... Здесь был лагерь военнопленных: русских военнопленных», — помедлив, добавил он и, неохотно козырнув, ушел.

Сколько их, безымянных, пронумерованных, лежало в этой сумрачной земле? Откуда они родом — эти без вести пропавшие? Где ждут их жены? Плачут их матери?

Ни звука, ни дуновения ветерка, ни привычного шума сосен, — ничего: тишина.

Днем позже я увидел на станции длинный эшелон, идущий с той, с финской стороны. Иссиня-бледные, изможденные лица смотрели в окна теплушек. Не слышалось ни песен, ни звука гармошек, сопровождающих в ту пору каждый воинский состав, ни радостных возгласов, ни вскриков. Одни глаза, — то вопрошающие, то смертельно усталые, то сияющие предчувствием близкого освобождения. Они смотрели на нас, мы — на них. По наскоро восстановленному полотну поезд шел медленно. Мерно постукивали колеса. Лязгали буфера. А солдаты, которые сопровождали взглядом этот безмолвный состав, стояли, опершись на щупы, словно путники, которым так далеко идти и которые рады этой передышке, этой безмолвной, краткой встрече в пути».

Таков этап трагического излома судьбы поэта. Но это — только один этап. Впереди его, «без пересадки», ожидал другой этап, тоже с овчарками и автоматчиками, но, увы, уже горячо любимой Родины — великой державы...

## НОВОМОСКОВСК В СУДЬБЕ ПОЭТА

Второй этап Ярослава Васильевича оказался не дальним. Его ожидала провинция столицы — Подмосковский угольный бассейн — Мосбасс...

Есть истина, проверенная веками: счастливый человек не может быть хорошим поэтом. Именно в соответствии с данной истиной судьба распоряжается поэтом так, что в его биографии неизбежно образуются «черные дыры» — жизненный путь извилист и тернист, где покорение труднодоступных вершин чередуется с неожиданными падениями в пропасти. Именно так — взлеты и падения позволяют увидеть мир в разных измерениях, как бы в разрезе. Но самое удивительное состоит в том, что поэты заранее предчувствуют и предсказывают свой трагизм: они своими обнаженными нервами видят преследующий их черный рок. «Я умру в крещенские морозы», — вполне спокойно, без истерики и драматизма произнес Николай Рубцов. Он погиб морозной ночью на Крещение 19 февраля 1972 года.

Василий Белов, с душевной болью подметил: «Талант поэтический не совпадает с искусством безбедно жить. Николаю Рубцову и Анатолию Передреву надо было не просто жить, надо было суметь выжить».

Именно суметь выжить истинному поэту — его тяжкий земной Крест. К Яросла-

ву Васильевичу это применимо в первую очередь. Черный рок и вызывает пророчества поэта, предугадывание своей судьбы. Откуда же тогда Молодой Ярослав Смеляков за пятнадцать лет до своей драматической встречи с Мосбассом выдохнул:

*Вечером в комнате  
Снова встают предо мной  
Стройки Челябинска  
Бобрики и Днепрострой.*

Когда 18-летний поэт сам набирал строки своей первой книги, началось строительство гиганта большой химии — Бобриковского химкомбината. Тогда же и поспешил сюда будущий друг Ярослава Васильевича — его одноклассник и поэт Степан Поздняков. Перед войной они познакомились на одном из литературных вечеров в Москве. Им суждено было выжить в крошечном аду Великой Отечественной войны, встретиться в необычной ситуации и подружиться на всю жизнь.

За годы первых предвоенных пятилеток Мосбасс превратился в мощную промышленную базу СССР: химия, электроэнергия, машиностроение, уголь, гипс, строительные материалы, легкая промышленность, сельское хозяйство — далеко не полный перечень деятельности этого важного региона. Мосбасс входил в состав Московской области. Он охватывал Богородицк, Венев, Донской, Кимовск, Киреевск, Узловую, Новомосковск (Сталиногорск), являвшийся его столицей, а также десятки крупных шахтерских поселков. Население края бурно росло. Разрушенной войной стране, как воздух, нужен был уголь — хлеб промышленности. Сразу после освобождения Мосбасса от оккупации в декабре 1941 года началось восстановление объектов промышленности. Тысячи и тысячи репрессированных, бывших военнопленных гнали сюда. Еще больше людей, спасаясь от голода, приезжали добровольно. Быстро восстанавливались шахты, широко развернулось строительство новых. По тому суровому времени страна щедро снабжала химиков и шахтеров. За сахаром, крупами, мукой туляки ехали к нам.

Мосбасс по праву считался «республикой в республике» в РСФСР. Он пользовался определенной самостоятельностью, самоуправлением: возглавлял работу обком партии Новомосковска (Сталиногорска), выходила на правах областной — газета «Московская кочегарка». В нем шло не только бурное строительство различных объектов промышленности, но и культурных центров, учебных заведений, жилья.

Но не в город прибыл этап бывших красноармейцев, а на шахту № 13. Вроде бы и город недалеко и в тоже время недосыгаем: у заключенных под стражу не было выхода из зоны. Вот здесь тот счастливый случай, а может, Божий промысел и свет Ярослава Васильевича с восемнадцатилетним красноармейцем и начинающим поэтом Павлом Поддубным. Он охранял заключенных. Каково же было его изумление, когда в одном из них — сутулом, угрюмом, с изможденным лицом, одетым в видавшую виды телогрейку и немислимо потертую шапку, он узнал знаменитого поэта. Общение солдат с заключенными строго-настрога запрещалось. Но при первом же увольнении в город Павел побежал в редакцию газеты, куда ходил на занятия литературного объединения к Степану Позднякову, и рассказал ему о невероятной встрече. Закончив срочный материал для очередного номера газеты, Степан ночью отправился в шахту. Встретились два фронтовика как старые добрые знакомые. Знакомство переросло в дружбу. Степан Яковлевич стал снабжать своего друга-зека книжными новинками, свежими газетами, бумагой, папиросами. Неоднажды он вспомнил, как Ярослав Васильевич говорил ему: «Крылья обязательно должны размахнуться шире, чем прежде. Надо только перетерпеть, подождать. Обязательно размахнутся крылья! Таков уж закон природы: испытания и переживания делают творчество горячее, напряженней». Это же он сказал и В. Дементьеву, ему же он рассказал, что московские

друзья-поэты не забывали его. П. Антокольский написал на отдельном издании «Сын»: «Дорогому Ярославу с горячей любовью, с надеждой на близкую встречу. Павел». Маргарита Алигер прислала сборник стихотворений, на котором стояла памятная надпись: «Я о тебе очень много и часто думала все эти годы». Таким же ободряющим было посвящение, сделанное Павлом Шубиным: «Ярославу в знак тихой и нежной дружбы, в память трудных дорог, которые, надеюсь, не повторятся».

Ярослав Васильевич очень любил мать. Он переживал за те страдания, которые причинял ей своей поэтической судьбой. Не выдержав мук друга, Степан Яковлевич поехал к ней в Москву. Он передал ей письмо от сына и новые стихи, написанные уже в поселке Донском на шахте № 13. Стремясь укрепить дух родного человека, он не без иронии писал ей: «Я теперь — страшно подумать! — пом. зав. банно-прачечного комбината». Но больше всего поэта волнует его предназначенье на земле — поэзия. Вот что пишет об этом письме критик и литературовед В. В. Дементьев: «Это письмо — волнующий человеческий документ, в котором все отдано и посвящено поэзии. Смеляков делился с матерью опасениями, — а не стал ли он писать стихи хуже? И тут же он поправлял себя: «Но ведь дело не в том, что в данных условиях, при полном отсутствии живых впечатлений, необходимых для творчества, всякое стихотворение — акт большого значения. И я даже иногда удивляюсь, что я все-таки работаю и у меня хоть что-нибудь да получается».

Нельзя не привести еще одного отрывка из этого письма, которое выходит за рамки личной переписки и добавляет на мой взгляд любопытные подробности к биографии Я. Смелякова.

«Если я скоро выйду, — писал Ярослав Васильевич матери, — стихи напечатаются сами собой, а если нет — напечатание уже ничему не поможет. А впрочем я затрудняюсь сказать что-либо определенное. Бог его знает. Мне было только очень приятно узнать отзыв Светлова — его мнение я ценю: он поэт настоящий». В своем творчестве немало строк поэт посвятил матери. Вот один из отрывков стихотворения «Мама» 1938 года.

*Всех бы приветила, всех сдружила,  
Всех бы знакомых переженила.  
Всех бы людей за столом собрать,  
А самой оказаться — как будто лишней,  
Сесть в уголок и оттуда не слышно  
За шумным праздником наблюдать.*

*Мне бы с тобою все время ладить,  
Все бы морщинки твои разгладить.  
Может, затем и стихи пишу,  
Что, сознавая мужскую силу,  
Так как у сердца меня носила,  
В сердце своем я тебя ношу.*

Но известный поэт в трудные дни не был отдан воле злого Рока. Московские друзья и новомосковцы помогали поэту, чем могли — время было трудное, голодное, катастрофически не хватало даже мелочей быта. Из поселка шахты № 13 Ярослава Васильевича, по настоянию друзей, переводят в Новомосковск. Шел октябрь 1945 года...

В Новомосковске Ярослава Васильевича приютили и обогрели два человека: редактор газеты Константин Иванович Разин, принявший поэта на работу ответственным секретарем городской газеты. А время-то какое было! Но он пошел к секретарю обкома партии и всю ответственность взял на себя. Решился вопрос и с жильем. Его взял к себе С. Я. Поздняков, живший в комнатухе с матерью. Вскоре Степан Яковлевич женился, но от этого им не станет теснее. Правда К. И. Разин, преодолев все преграды, сможет добиться комнаты для поэта-изгоя. И забурлила в Новомосковске

литературная жизнь, обогретая талантом и волей Ярослава Васильевича. Со всего Мосбасса съезжались на занятия литературного объединения начинающие авторы. Часто проводились литературные вечера и встречи. О них извещали красочные аршинные афиши. В газете стало правилом регулярно публиковать литературные страницы со стихами и рассказами местных литераторов.

С. Я. Поздняков неоднократно повторял: «Новомосковск — Болдинская осень» Ярослава Смелякова». Исследователь творчества поэта Валерий Дементьев вторит ему: «Новомосковский период в творческой биографии Я. Смелякова поразительно плодотворен и кипуч». Новомосковск столица Мосбасса, «республика в республике». Он пользовался определенной самостоятельностью в управлении производственной сферой и социальной жизнью. Являлся важнейшим центром угольной отрасли страны. В то время уголь нужен был стране, как хлеб. Здесь выходило две газеты «Сталиногорская правда» и «Московская кочегарка», газета шахтерского края, входившего в состав Московской области.

Для опального поэта, ставшего работать в городской газете в октябре 1945 года ответственным секретарем, открылось относительно хорошее поле творческой деятельности и выхода к читателю, прорыва в центральные журналы и газеты. «Болдинская осень» Я. В. Смелякова предстала во всей своей красе.

В опубликованной статье в «Новомосковской правде» (22 января 1963 г.) Степан Яковлевич отмечал, что за очень короткий срок здесь создаются стихотворения: «Это кто-то придумал счастливо», «Портрет», «Вот опять ты мне вспомнилась, мама», «Песня», «Судья», «Глядя на небо», «Пряха», «Кладбище паровозов», «Памятник», «Наш герб», «Здравствуй, Пушкин!», «Платье королевы», «Тихо прожил я жизнь человечью», поэма «Лампа шахтера», пьеса «Друзья Михаила Югова», большой цикл сатирических стихотворений, рецензии на спектакли местного театра, зарисовки о горняках, репортажи и очерки».

Я. В. Смеляков вместе с С. Я. Поздняковым в «Московской кочегарке» заводят рубрику «Ведет разговор Егор Капров». Рубрика подавалась читателю в форме рашеника и пользовалась успехом в среде шахтеров, химиков, гипсовиков и строителей.

Валерий Друзин справедливо замечает: «Многое из написанного в те годы Я. Смеляковым сыграло роль злободневного отклика и осталось навсегда на газетной полосе. Не получилась у него и поэма «Лампа шахтера». Лад шахтерского сказа, к которому решил прибегнуть поэт,— не был ему свойственен, не отвечал характеру его дарования. Поэма распалась на куски и в таком виде изредка публикуется теперь в сборниках Смелякова. Не получила известности его пьеса о шахтерах, она прошла только в одном театре в Махачкале. Однако жизнь и работа в Новомосковске дала Смелякову многое как лирическому поэту. Он оказался в рабочей среде, к которой привык с детства. Он часто бывал на дальних и ближних шахтах, ездил в колхозы как рядовой репортер. Он гордился бедновато и грубо одетыми людьми, которые вместе с ним шли ежедневно к шахтному стволу, подымались на строительные леса, выполняли в мороз и летнюю жару сменные задания. Где бы не был поэт, повсюду он принимал одну и ту же картину:

*Меж тесной грязи рельсы молча лезут,  
Клубится пар, несетя сильный ток.  
Здесь торжествует уголь и железо,  
Диктаторствует бур и молоток.  
Здесь жизнь и время меряют на тонны.  
Здесь лозунги орут и говорят.  
Весь день стучат товарные вагоны.  
И паровозы свищут и трубят.*

Среди появившихся в газетном листе стихотворений можно найти у Я. Смелякова примечательные вещи. Такой примечательной вещью я считаю стихи «У насыпи братской могилы». Они опубликованы 13 ноября 1945 года в «Сталинградской правде», через несколько дней после открытия памятника воинам, павшим при освобождении Подмосковья. Наконец-то в 1947 году Ярославу Васильевичу разрешили вернуться в Москву. Но это был еще не последний круг ада... В третий раз прославленный поэт оказался под арестом в 1951 году. Чего только не приписали ему в актив «вражеской деятельности»: разведывательная работа в пользу Финляндии, антисоветская пропаганда и прочую крамолу. Приговор оказался суровым: 25 лет заключения.

Н. К. Старшинов в своих воспоминаниях посвятил Ярославу Васильевичу очень теплые слова. В частности он пишет о годах заключения, хотя и без прямой ссылки на них, поскольку он не хотел капитулировать. На это, написаны его прекрасные стихи «Земля»:

*Чтоб ее не кручинились кручи  
И глядела она веселей,  
Я возил ее в тачке скрипучей  
Так, как женщины возят детей...  
...Человек с голубыми глазами,  
Не стыжусь и не радуюсь я,  
Что осталась земля под ногтями  
И под сердцем осталась земля...*

У Я. Смелякова нет жалоб на свою судьбу. Не любил он вспоминать ни о годах, проведенных в заключении, ни о плене. За все время знакомства с ним я не услышал от него об этом ни слова. И стихи на эту тему у него редкость. «Я унижаться не умею»,— сказал он в стихотворном послании своему «крестному» следователю Павловскому, опубликованном «Новым миром» уже после смерти поэта. И разговор с ним он вел не озлобленный, а иронический достойный.

*Послание Павловскому  
В какой обители московской,  
В довольстве сытом иль нужде  
Сейчас живешь ты, мой Павловский,  
Мой крестный из НКВД?  
Ты вспомнишь ли мой вздох короткий,  
Мой юный жар, мой юный пыл,  
когда меня крестом решетки  
Ты на Лубянке окрестил?  
И помнишь ли, как птицы пели,  
как день апрельский ликовал,  
когда меня в своей купели  
Ты хладнокровно искупал?  
Не вспоминается ли дома,  
когда смежаешь ты глаза,  
Как комсомольцу молодому  
Влепил бубнового туза?  
Не от безделья, не от скуки  
Хочу поведать не спеша,  
Что у меня остались руки  
И та же детская душа.*

*И что, пройдя сквозь эти строки,  
Еще не слабнет голос мой,  
Не меркнет ум, уже жестокий  
Не уничтоженный тобой.*

*Как хорошо бы на покое,—  
Твою некстати вспомнить мать,  
За чашкой чая нам с тобою  
О прожитом потолковать*

*Я унижаться не умею  
И глаз от глаз не отведу,  
Зайди по дружески скорее.  
Зайди, а то я сам приду.*

Великолепные стихи! — умные мысли умно написаны. Не случайно в статье «Молодая русская поэзия» опубликованной в 1961 году Я. В. Смеляков, в частности говорит: «Еще Генрих Гейне писал, что если мир даст трещину, то трещина пройдет через сердце поэта. Лермонтов говорил, что поэт — это вечевого колокол, который должен звучать во дни торжества и бед народных. Неплохо было бы об этом почаще вспоминать, а вернее — никогда не забывать нашим молодым поэтам.

Наряду с сердцем в поэзии должен присутствовать ум. Пушкин, Лермонтов, Некрасов, Тютчев, Блок, Маяковский были не только сердечными, отзывчивыми, нежными людьми, они были одними из самых выдающихся умов своего времени. Так давайте же не сбрасывать ум, не сбрасывать общественное сознание со счетов, когда мы говорим о самой сути нашей поэзии».

Творческая интеллигенция, литераторы и не только, первой трети XX столетия представляют собой парадоксально-трагическое явление всех созданных произведений. В них легко обнаруживается образец двойственности исследуемых проблем.

На наш взгляд, двойственность творчества, в частности, Павла Васильева, Бориса Корнилова, Ярослава Смелякова была объективной и неизбежной. «Я унижаться не умею...»

Гениальные учителя «Золотого века» подарили талантливым потомкам и наследникам своего творчества — «Серебряному веку» опыт художественного изображения ПРАВДЫ ЖИЗНИ — подлинного реализма. А эпоха революционных бурь пыталась набросить на их неукротимых Пегасов железный намордник «социалистического реализма» с его многочисленными табу и зоркой цензурой. Ностальгия по уходящим поэтическим образам рушившегося мира и романтика революционных бурь с верой в светлое будущее — правда отражаемой действительности. Отсюда и герои произведений: честные и верные присяге мужественные белогвардейцы, несгибаемые железные кулаки, симпатичные воры и преступники, с одной стороны. А с другой стороны — стальные комиссары, передовые рабочие и первые колхозники, коммунисты и романтики-комсомольцы.

Молодые поэты представляли одновременно певцами старого «враждебного мира» и нового побеждающего, рвущегося в царство рая. Им легко было приклеить ярлыки «подкулачников» и «контрреволюционеров». Для дотошных и агрессивных следователей Лубянки творчество поэтов являло образец прогрессивных и многообещающих «дел» для разработки любых домыслов и вымыслов. Так и случилось...

В «Литературной России» весной 1989 года Ст. Лесневский опубликовал «литературную экспертизу» творчества Б. Корнилова, документ пространственный и все же он заслуживает хотя бы отрывка из него.

«Корнилов не скрывает своей горячей симпатии к /.../ «гонимому» кулаку. Он прямо говорит:

*И, что его касаемо,  
Мне жалко старика...*

Корнилов эпически спокойно дает слово злодею — убийце С. М. Кирова, злодей Николаев восклицает:

*Мы подходим к решенью  
Смелее,  
Смелей,—  
Киров будет мишенью  
Для пули моей...*

Корнилов считает нужным передать состояние злодея. И как он его передает!

*Лихорадка и злоба,  
Потом торжество...*

Ни слова о том, кем был гнусный убийца Николаев. Ни звука о том, кто является организатором этого подлого убийства. Ни намек на контрреволюционную террористическую «работу» троцкистско-зиновьевских вырожденцев. Вместо этого — невнятица о бабе-яге и о каких-то трутнях. И концовка стихотворения — приспособленчески заздравная, полная ячества, пошлая.

Таким образом, я прихожу к следующему заключению.

В творчестве Б. Корнилова имеется ряд антисоветских, контрреволюционных стихотворений, клеветующих на советскую действительность, выражающих активное сочувствие оголтелым врагам народа, стихотворений, пытающихся вызвать протест против существующего в СССР строя.

В творчестве Б. Корнилова имеется ряд стихотворений с откровенно кулацким, враждебным социализму содержанием.

Эти стихотворения не случайны. Однозвучные с ними мотивы прорываются во многих других стихотворениях Б. Корнилова. Это говорит об устойчивости антисоветских настроений у Корнилова.

Корнилов пытается замаскировать подлинный контрреволюционный смысл своих произведений, прибегая к методу «двух смыслов» поверхностного — для обмана и внутреннего, глубокого — подлинного. Он по сути дела применяет двурушнические методы в поэзии.

Н. Лесючевский, 13 мая 1937 г.»

Отзыв-приговор писал профессионал и он точно подметил за поверхностным, заздравным слоем лирики поэта состояние души: ужас, сочувствие гонимым, бессилие.. иначе не могло и быть. Истинный поэт Борис Корнилов передавал читателям всю правду жизни. Эксперт слукавил — ошибся в одном: поэт не маскировал своих чувств, он отображал все так, как есть. В противоречиях эпохи он пытался найти «золотую середину» примирить непримиримое. Цена — жизнь.

Установил примерную дату гибели поэта: 21 ноября 1938 года. Эксперт Н. Лесючевский благополучно дожил до семидесяти лет и умер в 1978 году на посту руководителя крупнейшего издательства СССР «Советский писатель». Он дожил до полной реабилитации всех литераторов, видел их книги и издавал сам. Но вряд ли чувствовал угрызение совести, полагая, что время было такое.

«Я унижаться не умею...»

Правда жизни и творчества...

П. Васильев, Б. Корнилов и Я. Смеляков — три друга явились в литературу истинными поэтами и не могли изменить ПРАВДЕ ПОЭЗИИ. В этом одна из главных причин трагедии литераторов 20—30 годов прошлого столетия.



Таким же противоречивым можно представить творчество А. Пушкина и М. Лермонтова, Ф. Достоевского и Л. Толстого. В произведениях этих гениев гимны дворянам и помещикам, сочувствие к угнетенным крестьянам и рабочим, пророчества неизбежных социальных перемен — призыв к бунту толпы. Правда жизни и творчества...»

Но правда и то, что самых умных, талантливых на грани гениальности друзей растоптали и уничтожили. Вряд ли Я. В. Смеляков после стольких лет унижений и забвений смог подняться на ту высоту полета, для которой явился, а может был ниспослан на землю. Большинство же остались живыми и невредимыми.

Выбрали наиболее талантливых и перспективных русских? Кошунственно, но неизбежно напрашивается вопрос: Ягода, Ежов, Берия превращали в пыль (любимое изречение Берии) — делали это осознанно, по подсказке или по указанию свыше? Трудно найти ответ! Но...

Накануне войны состоялись выборы в Верховный Совет СССР. Они прошли по уже отработанному сценарию — «триумфально». Для узкого круга своих приближенных Сталин устроил торжественный банкет. На нем он «нечаянно» обронил откровенную фразу: «Главная победа на выборах заключается в том, что теперь русские признали нас своим правительством...» В руководстве партией и страной по-прежнему русских насчитывалось буквально единицы...

На свободе Ярослав Васильевич окажется только после массовой амнистии («холодного лета пятьдесят третьего года...»).

В конце пятидесятих годов прошлого века костяк Узловского литературного объединения — Л. Кальянов, А. Кудрявцев, В. Мишин и автор этих строк не пропустили ни одного занятия и литературных встреч в Новомосковске. Вскоре к нам присоединился М. Крышко. Дело Я. В. Смелякова продолжил неутомимый и талантливый организатор литературного движения Мосбасса — поэт С. Я. Поздняков. Он многое перенял у своего маститого учителя — даже черты характера: был строг, прямолинеен, но достаточно корректен и объективен в своих суждениях о том или ином произведении.

Однажды один из начинающих авторов прочитал стихи, посвященные С. Есенину. Они начинались словами: «Спи спокойно, Серега!» кошунственность фразы по отношению к поэту очевидна. Степан Яковлевич дал возможность автору полностью прочитать свое творение. Но по окончании «действия» вскочил со стула и обрушил на чтеца град разогретой критики: «Кто вы есть? Кто мы все здесь сидящие, чтобы так запанибратски обращаться к памяти великого национального поэта! Мы — пыль! Мы — ничто по сравнению с гением. А значит и наши корявые строки не должны тревожить его прах. Научимся писать по-настоящему — пожалуйста — посвящая теплые строки хоть самому богу поэзии Александру Сергеевичу Пушкину!»

Мы — безотцовщина, почти у всех они погибли на войне, любили Степана Яковлевича как отца, как наставника, как живого друга большого русского поэта. У него сохранилась значительная часть архива Я. В. Смелякова. Многое он приносил на занятия: книги, газеты, афиши тех лет, извещавшие о литературном вечере, черновики стихов поэта, созданные в годы жизни в Новомосковске. Показывая испещренный черновик, он говорил: «Вот как надо работать над стихами!»

Степан Яковлевич часто рассказывал об истории создания тех или иных стихов: «Наш герб», «Кладбище паровозов», увиденное поэтом на станции «Урванка», «Памятник» и других.

В теплом лирическом очерке «Ярослав Смеляков» (У истоков Дона, ч. 1 РИФ ИНФРА, Тула, 2001) Александр Меситов пишет об истории одной фотографии и в частности, о создании им в Новомосковске стихов «Памятник».

«В архиве Позднякова есть редкий снимок. Встреча Нового 1946 года. Снимок сделали в квартире у Степана Яковлевича. За спиной у сидящих — огромный фикус. За столом Поздняков, его сосед-баянист с сынишкой и Ярослав Васильевич. А на

столе: початая бутылка «Московской», чугунная сковородка, и, кажется, еще две тарелки, с капустой и солеными огурцами. Бедность ужасающая, но все сияют, улыбаются, а он думает о своем, смотрит в пространство».

Все правильно, но требует продолжения со слов Степана Яковлевича. И решили они первый послевоенный новый год встретить по-настоящему. Главная сложность — достать спиртное. Водку выдавали только по спецталонам. С большим трудом приобрели бутылку «Московской». Мама Степана Яковлевича посчитала, что одной бутылки на трех мужчин для широкого праздничного застолья маловато. И по совету соседей-специалистов, она постаралась придать водке крепость — настоять на самосаде. Действительно, хмель забрал всех. Но вот последствия оказались тяжкими: слишком болели головы, гудели как чугуны. Проснувшись под утро, Ярослав Васильевич с чугунной головой пошел курить на кухню. Ему явились строки «Памятника», которые он и записал, подсвечивая спичками, на папиросной коробке.

*Приснилось мне, что я чугуном стал.  
Мне двигаться мешает пьедестал.  
Рука моя трудна мне и темна,  
И сердце у меня из чугуна.  
В сознании, как в ящике, подряд  
Чугунные метафоры лежат.  
И я слежу за чередой дней  
Из-под чугунных сдвинутых бровей.  
Вокруг меня деревья все пусты,  
На них еще не выросли листья.  
У ног моих на корточках с утра  
Самозабвенно лазит детвора,  
А вечером, придя под монумент,  
Толкует о бессмертии студент.  
Когда взойдет над городом звезда,  
Однажды ночью ты придешь сюда.  
Все тот же лоб, все тот же синий взгляд,  
Все тот же рот, что много лет назад.  
Как поздний свет из темного окна,  
Я на тебя гляжу из чугуна.  
Недаром ведь торжественный металл  
Мое лицо и руки повторял.  
Недаром скульптор в статую вложил  
Все, что я значил и зачем я жил.  
И я сойду с блестящей высоты  
На землю ту, где обитаешь ты.  
Приблизусь прямо к счастью своему,  
Рукой чугунной тихо обниму.  
На выпуклые грозные глаза  
Вдруг набежит чугунная слеза.  
И ты услышишь в парке под Москвой  
Чугунный голос, нежный голос мой.*

Все сходится с рассказом Степана Яковлевича. В глазах видится картина: талантливый, известный поэт — недавний кумир молодежи измордован страшными перехлестами своей тяжелой судьбы. С мрачными думами один на один сидит в тесной каморке захолустного городка, каким был в то время Новомосковск. Он курит одну папиросу за другой. Не дают покоя чугунные мысли, теснятся в чугунной голове.

Недалеко праздничная столица великой державы, одолевшей могучего врага. Где-то там любимая женщина, немногие, уцелевшие в лихолетьях друзья, иная жизнь. Но они отгорожены от него прочной стеной суровых законов того труднообъяснимого времени. Гудит чугунная голова, да и тело — чугунное. Сами собой приходят строки. А глаза застит «чугунная слеза»...

Очередное злключение Я. В. Смелякова, забросившее его в Новомосковск, обернулось счастьем для города, его литераторов, особенно молодых. Степан Яковлевич поддерживал с ним связь до самых последних дней. Он часто навещал поэта в Москве и всегда неизменно возил ему газеты с нашими стихами и рассказами, держал в курсе всей жизни местных авторов. Мастер помогал новомосковцам советом и делом. Наиболее талантливых он продвигал в большую литературу. С его легкой руки в московских журналах публиковались стихи П. Поддубного и С. Ткачева. Ему приглянулось творчество молодого поэта Анатолия Брагина и он способствовал ему в нелегком деле — поступлении в литературный институт имени М. Горького. Не однажды упоминал его имя в статьях о молодых литераторах, цитировал короткое стихотворение «Россия»

*Вековыми лесами поросшая  
И травую бескрайних степей,  
Мало в прошлом ты знала хорошего,  
Но великого много в тебе.  
Как не бились захватчики рьяные,—  
Отстояли мы каждую пядь.  
Не сломали тебя деревянную,  
А стальную — попробуй сломать!*

В 1957 году Ярослав Васильевич поможет молодому новомосковцу опубликовать подборку стихов в «Литературной газете». Подборку открывает слово Мастера:

**«СТИХИ АНАТОЛИЯ БРАГИНА»**  
(предисловие к поэтическому циклу)

Недавно ко мне пришел неизвестный молодой человек и, конечно же, принес пачку стихов.

Он очень робко сел на краешек стула, а я стал читать его рукопись. Первое же стихотворение обрадовало меня. Обращаясь к России, поэт говорит:

*Не сломали тебя деревянную,  
А стальную — попробуй сломать!*

«Ого! — подумал я.— Да он просто молодец! Сказано, точно, широко и кратко. Жаль, если это только случайная удача». Но вот и на следующей страничке вспыхнула, на мой взгляд, отличная строфа:

*Машина мчалась быстрым бегом.  
Длинна дорога и крива.  
С боков ее просторы снега  
Вращались, словно жернова.*

А вот еще внезапная находка. А вот интересное стихотворение. Нет, он, безусловно, талантлив! Правда, рядом с хорошими строфами частенько стоят неважные, а то и совсем неуклюжие; правда, в этой его пачечке есть стихи явно неудавшиеся. Не хватает еще мастерства, не выработан вкус. Но ведь это все дело наживное. Было бы дарование, была бы истинная любовь к Родине, а все остальное и потом приложится.

Этого поэта зовут Анатолий Брагин. Еще совсем мальчиком, он, сын организато-

ра первого в их районе колхоза, стал работать на пашне, потом закончил горнотехническое училище и работал в Мосбассе горным мастером. Он приехал в Москву и поступил в Литературный институт. Я был рад рекомендовать его туда и рад представить его читателям. Доброго ему пути».

Получить литературное образование Ярослав Васильевич помог также Валентину Матисову, Алексею Логунову, Виктору Соломину и другим новомосковцам и тулякам.

Упорно Степан Яковлевич подталкивал и меня к живому классику: «Поезжай, поезжай к нему. Ему нравятся твои стихи. Неоднократно упоминал он и о том, что Ярославу Васильевичу приглянулось творчество В. Мишина, М. Крышко, В. Пахомова. Он вообще хорошо относится к молодым авторам». Действительно о Викторе Пахомове Ярослав Васильевич вспомнит еще и не однажды...

Наиболее теплое воспоминание о Я. В. Смелякове написал, конечно же, Н. К. Старшинов.

Попутно надо сказать о его отношении к молодым. Оно было при всей суровости его оценок чутким и доброжелательным, он сам прекрасно сформулировал его:

*Я сделал сам не так уж мало,  
И мне, как дядьке иль отцу,  
И убажать их не пристало,  
И унижать их не к лицу.*

И еще в этом стихотворении:

*...Я ни сколько не таюсь,  
Что с раздраженной добротой  
Сам к этим мальчикам тянусь.*

В этом я лишний раз убедился, когда в 1959 году мы вместе руководили поэтическим семинаром на совещании молодых в Ярославле. Тогда мы написали для молодежной газеты заметку, в которой особенно выделили Александра Романова и Василия Белова (да, да, Белов начинал со стихов). Смеляков даже дал им рекомендации в Союз писателей.

Помню и другое. В том же году я уже работал в журнале «Юность», дал Ярославу стихи тогда еще совсем юного Владимира Кострова с просьбой — написать предисловие к его подборке. Конечно, если она придется ему по душе. И он откликнулся целой статьей, поскольку ему понравилось «в стихотворениях Кострова ненарочитое соединение мыслей и чувств технически образованного человека нашего времени и крестьянского парнишки...».

Помню я и еще случай, когда он проявлял интерес к молодому поэту. Как-то я принес ему стихи туляка Виктора Пахомова, которого долго не печатали в области. Смеляков высоко их оценил, попросил меня сделать врезку к ним и не только опубликовал их в журнале, но и добился того, что молодому поэту журнал присудил премию за лучшие стихи года.

Речь идет об одном из самых авторитетных журналов Советского Союза — «Дружба народов».

После доброго благословения Мастера, перед талантливым Виктором Пахомовым, загнанным жизнью в медвежий угол провинции, приоткрыли двери другие московские журналы, издательства столицы и Тулы...

## ПОСЛЕДНИЙ ВЫДОХ ДУШИ

Многие талантливые русские поэты, рожденные в начале XX века, сгорели в пламени революционных лет, вдохнув вольный воздух свободы. Освежающий ветер закружил их в черном смерче. А. Блок... Н. Гумилев... С. Есенин... В. Маяковский... П. Васильев... Н. Клюев... Б. Корнилов... Десятки других поэтов, не успевших раскрыть полностью свои дарования, Я. Смеляков уцелел. Но ему довелось испытать всю горькую чашу «нового рая». Очень точно охарактеризовал время революционной перестройки поэт и публицист Ю. Кублановский:

«Самая хаотичная, неровная, буйная жизнь Есенина — русская вольница в частной сфере. Да и время на первых порах способствовало житейской анархии: победу большевистской деспотии многие — отнюдь не только Есенин — приняли тогда за верное проявление народной стихии. Когда же вдосталь воспользовавшись «русским бунтом» Третий Интернационал (читай: Древний Интернационал! — Н. Б.) надел на страну железный намордник, есенинская «вольница» сделалась не просто не нужна, а самим своим существом вызывающе указывала на инородность укрепившегося режима. Мятельный Есенин, неуправляемый, гениальный, стал бельмом на глазу у новых властей предрежащих. Насильственность его смерти — очень вероятна, и я не до конца понимаю тех, кто с излишней горячностью почему-то пытается теперь ее отрицать, тем самым выгораживая чекистов..»

Есенин «чужак» в культурной плеяде поэтов нашего века: замороженный народ, покалеченная Россия — это его стихия. А он — их неумная исстрадавшаяся душа.

«Они любить умеют только мертвых...», — выдохнул А. С. Пушкин, и, как всегда, пророк оказался прав.

Все испытал на себе Ярослав Васильевич. Он очень любил Россию, ее народ и был терпелив, как Христос. Но в конце жизни из глубин его сущности все-таки вырвался пронизанный непроходящей болью, выдох смертельно издерганной и уставшей души.

В январе — марте 1973 года я учился в Москве: проходил очередные, традиционные для тех лет курсы повышения квалификации руководящих работников. Естественно, звонил Н. К. Старшинову, заходил к нему неоднократно. На скучных занятиях я вел записи некоторых встреч с Учителем. 20 марта мы просидели с ним за чаем целых три часа. Он отдыхал после напряженной работы над очередным номером альманаха «Поэзия».

Николай Константинович помнил, что у меня растут две дочки. Иногда, после приветствия, интересовался их житьем-бытьем. И на этот раз, вводя разговор в непринужденное русло, спросил:

— Как твои «милые красавицы России»?

— Как в стихах Ярослава Васильевича, — пытался отшутиться я, в то же время бравируя перед ним знаниями творчества недавно умершего большого поэта.

— В каком классе уже и как учится старшая?

— В третьем, отличница.

— Очень хорошо. А младшая?

— Завтра еду домой. 22 марта ей будет три года. У них разница в возрасте — почти десять лет.

— Похожи друг на друга?

— Естественно, фирма-то одна. Хотя не очень. Старшая — на маму, а младшая, вроде бы на меня. Уловив в моем голосе нотки любви к дочкам, он одобрительно и мягко улыбнулся.

— Это очень хорошо! Закурив, мы помолчали. Вы — новомосковцы хорошо знакомы с творчеством Ярослава Смелякова, его тяжелой судьбой. Я же бываю у

Глеба Паншина и знаю, что Степан Поздняков боготворит Ярослава — у него культ поэта.

— Есть кого боготворить и у кого учиться. Он и нас приобщает к этому культу: возил ему наши опусы, подталкивал на знакомство с ним.

— Я знаю это. Петр Сальников в свое время рассказывал, что Ярослав Васильевич еще в начале шестидесятых годов отметил ряд твоих стихотворений. А позже он вообще вывел Виктора Пахомова на дорогу большой литературы.

— С вашей помощью.

— Да, но Смеляков — величина в поэзии, его слово было законом.

— Но вот я не рискнул обратиться к нему. Степан Яковлевич даже обижался, что не слушаю его советов.

— Почему же ты не встретился с Ярославом, ведь в Москве часто бываешь?

— Во-первых, с чем обращаться? Я всегда реально оценивал свои возможности. Наверно, можно было бы показать три-пять стихотворений, за которые не стыдно. Но этого, я был убежден, недостаточно.

Во-вторых, Петр Георгиевич Сальников убедил меня, что лучше сесть на шею Старшинову — он терпеливее. Николай Константинович улыбнулся.

— Не тужишь?

— А что тужить? С вашей помощью вышла книжка. Следом издательство расщедрилось на стотысячный тираж книжки для детей. Кое-что еще есть за душой. Но вот прорыва в себя я никак не постигну. А дополнительно вам хлопот придавать, надоедать — неудобно.

— Ты-то как раз мне и не надоедаешь. Ты моя связь с Тульской землей, с Глебом. Я же наполовину тульский, мама из ваших краев. Он замолчал. Мы вновь закурили. А Ярослав Смеляков по праву считается одним из крупнейших поэтов современности. Жаль, что рано умер.

— Все-таки сказались тяжелейшие испытания, выпавшие на его долю.

— Незадолго перед смертью, прошлой осенью, с поэтом Вадимом Кузнецовым были у него на даче в Переделкино. Он уже себя плохо чувствовал. Мы попросили у него новые стихи для альманаха. Ярослав Васильевич сказал, что ничего путного не написал. Разрешил использовать стихи, оставшиеся от новой книги. Среди них есть стихи о Маяковском.

— Но это старые, хорошо известные стихи:

*Из поэтовой мастерской,  
Не теряясь в толпе московской,  
Шел по улице по Тверской  
С толстой палкой Маяковский.*

Поспешил я снова блеснуть своей памятью.

— Коля,— перебил меня Николай Константинович,— речь идет о совершенно новых, сенсационных стихах Ярослава Васильевича. Из вороха бумаг он извлек несколько листков. И, почти не заглядывая в них, прочел:

*Ты себя под Лениным чистил,  
Душу, память и голосище,  
И в поэзии нашей нету  
До сих пор человека чище.*

*Ты б гудел, как трехтрубный крейсер,  
В нашем  
общем многоголосье,*

*но они тебя доканали,  
эти лили и эти оси.*

*Не задрипанный фининспектор,  
Не враги из чужого стана,  
А жужжавшие в самом ухе  
Проститутки с осиным станом.*

*Эти душечки-хохотушечки,  
Эти кошечки полусвета,  
Словно вермут ночной, сосали  
Золотистую кровь поэта.*

*Ты в боях бы ее истратил,  
А не пролил бы по дешевке,  
Чтоб записками торговали  
Эти траурные торговки.*

*Для того ль ты ходил, как туча,  
Медногорлый и солнцеликий,  
чтобы шли за саженым гробом  
вероники и брехобрики?!*

*Как ты выстрелил прямо в сердце,  
Как ты слабости их поддался,  
Тот, которого даже Горький  
После смерти твоей боялся?*

*Мы глядим сейчас с уваженьем,  
Руки выпрастав из карманов,  
На вершинную эту ссору  
Двух рассерженных великанов.*

*Ты себя под Лениным чистил,  
Чтобы плыть в революцию дальше,  
Мы простили тебе посмертно  
Револьверную ноту фальши.*

— Ну как?

— Потрясающе! Потрясающе,— повторил я,— как убийственно точно, по-смеляковски:

*Эти душечки-хохотушечки,  
Эти кошечки полусвета,  
Словно вермут ночной сосали  
Золотистую кровь поэта.*

В каком-то полугипнозе от услышанного прошептал я. Константиныч со своей доброй, с легкой грустью, улыбкой смотрел внимательно мне в глаза.

— Как и все великие люди, Маяковский в делах житейских во многом оставался беспомощным, плыл по руслу «осей и бриков». Ярослав Васильевич это хорошо знал — поэт был его кумиром. Не следуя за его творчеством формально, он, в тоже время, как и Маяковский, стремился к высокой гражданственности в своем творчестве. Ждите десятый номер альманаха и не прозевайте, его раскупят мгновенно, ибо в нем идут и эти стихи Смелякова.

Я сидел с полукрытым ртом и немим вопросом.

— Удивляешься?

— Очень уж смело с вашей стороны. У вас сейчас высокий авторитет и единомышленников много. Но «марсиане» вам не простят данной публикации. Они любят наносить удары в темноте и из-за угла.

— Какие «марсиане»?

— В университете так мы звали всех «богоизбранных». «Богоизбранные», значит, небожители, «марсиане».

— Точная характеристика.

— Куда уж точнее. А вы вторгаетесь в запретный мир. Зашебуршатся они. Не любят, когда хоть толика правды о них выплывет на свет.

— Ничего, как-нибудь перетерпят. Вот Ярослав Васильевич не выдержал и сказал правду. А зачем же мне скрывать его хорошие стихи. В крайнем случае полагают, полагают, да и упокоятся.

— Дай-то бог.

— А что тебе известно об этих 2 лилиях и осях»?

— Еще в сельской школе я полюбил творчество Маяковского. В ранней юности в рабочем общежитии я начал собирать библиотеку. В 1955 году стало издаваться самое полное собрание сочинений классика. Я приобрел все тринадцать томов, которые целы до сих пор. Естественно, что в них можно кое-что вычитать о Бриках.

В годы учебы в университете нам разрешили читать в библиотеке все периодические издания — дореволюционные и послереволюционные. В то время, до 1935 года, издавалось много бесцензурных газет и журналов. В них публиковались сплетни интеллигентской богемы. Почти все студенты интересовались судьбой Есенина, Маяковского, других поэтов.

— Я, конечно, кое-что слышал от старших товарищей. Писали, что Лилия Брик была неотразимой красавицей.

— Николай Константинович, я действительно много читал газетной правды того времени. Вы же знаете, что первое посвящение Лиле Брик Маяковский сделал на поэме «Облако в штанах»: «Мир огромив мощью голоса, иду — красивый, двадцатидвухлетний». Значит, познакомился он с Лилей в 1915 году, так как родился в 1893 или в 1894 годах — точный год рождения он сам не знал. Лилия была людоедкой и «марсианкой». Очень сексапильная, она просто гипнотизировала мужчин своей поразительной сексуальностью. И хотя была замужем, но мимо мужчин не проходила. Да и брак Бриков являлся прикрытием. Брик абсолютно не реагировал на куртизанскую жизнь жены. Что у «марсиан» бывает нередко. Вот и выстроился «французский треугольник». В Маяковском Брики заимели дойную корову. Он был плодовит, популярен, его охотно печатали все издания. А гонорары в то время были приличные. Все поэтические дела устраивал Брик. Он же распоряжался гонораром. Он, по сути дела, отдал им свою квартиру, оставаясь сам в коммунальной комнате. «Французский треугольник» и доконал поэта. Добавились неудачи в творчестве, постоянная травля «желтой прессы», провальная юбилейная выставка его работ. Импульсивный, взрывной характер и толкнул его к роковому шагу. А вы знаете как он озаглавил свое предсмертное письмо?

— Если честно, то что-то знал, но сейчас не помню.

— «Всем». А в нем есть такие слова: «В том, что умираю, не вините никого и, пожалуйста, не сплетничайте. Покойник этого ужасно не любил».

— Откуда ты знаешь о содержании письма?

— У Петра Георгиевича Сальникова есть увеличенная фотокопия.

— Смеляков мне кое-что рассказывал о судьбе Маяковского. Его травили, как ты знаешь, и другие «марсиане». В частности, популярный комсомольский поэт Семен Кирсанов в газете «Комсомольская правда» опубликовал подлое стихотворение.



«Цена руки». Написанное «под Маяковского» — лесенкой, в нем прямо не называлось имя поэта. Но каждому читателю было ясно, о ком идет речь. В стихотворении дан грязный рефрен: «Я руки такому не подам».

Вскоре состоялась премьера «Бани». Из помойного ушата выплеснули очередной грязный поток разгромных, унижающих и издевательских статей. Кольцо вражеского окружения сжалось до предела. Раздался роковой выстрел. А вот после его смерти все произведения, собрания сочинений выходили под редакцией Лилии Брик. Она же переворошила и архив поэта. На многих стихах оказались посвящения ей. Теперь уже никто не разберется где правда, а где надуманность.

Смеляков — живой свидетель трагедии своего кумира. Сам переживший не меньше, если не больше, он и написал эти пронзительные стихи.

— В них он, как раз, и припомнил «марсианам», что и ему досталось от «богоизбранных».

— Не только от них. А время-то какое было?

— А я думаю, что и Ярослава Васильевича достали «марсиане» — очень уж между строк стихов высвечиваются их повадки и скрытые ловушки.

— Нет, Коля, скорее всего здесь он ведет речь о мещанстве, подлости околотитурной среды обывателей, мелочности жизни — суеты сует.

— Вот-вот, так и действуют «марсиане»: тихо и изнутри. Он в самом конце своего земного пути зримей понял их роль в гибели Маяковского, да и в трагических изломах собственной судьбы.

— Смеляков-интернационалист в самом лучшем смысле данного слова. Какие стихи он посвятил Павлу Антокольскому! Знаешь?

— Разумеется, кто же не знает изумительно-восхитительный эпитет:

*Здравствуй, Павел Григорьевич  
Древнерусский еврей.*

— Чувствуешь, сколько уважения и любви вложил поэт в сочетание слов «древнерусский еврей»?

— Коля,— Конечно же, я знаю кое-что об этом, но в тонкости не вникал. Да и наши писатели, в некоторой степени, группируются, поддерживают друг друга по национальному признаку.

— Вот одна из группировок наверняка набросится на вас.

— Я не исключаю такой реакции, например, от Константина Симонова.

— А ты где-нибудь высказываешь свои знания идеологических теорий?

— Горком партии мне поручил преподавать весь гуманитарный цикл предметов студентам вечернего филиала Тульского политехнического института. Я им свободно излагаю то, что конспективно высказал сейчас.

— В определенных кругах твои взгляды могут быть непонятными.

— Знаю.

— Будь осторожен, иначе тебя проглотят, не разжевывая.

— Вот видите, а сами такие крамольные стихи Смелякова публикуете. Вам тоже могут кое-что припомнить мои любимые «марсиане».

— А разве память о большом поэте не стоит возмущения недовольных?

Потом он расскажет: «После выхода в альманахе «Поэзия» стихотворение это не было ни разу опубликовано ни в одном издании. А с самим этим номером альманаха произошла непонятная история. Он мгновенно исчез с полок книжных магазинов. Поэт и прозаик Виталий Коржиков рассказал мне даже такое:

— Подошел я несколько дней назад к книжному магазину, который находится поблизости от моего дома. Смотрю, подъезжает к нему легковая машина. Из нее вышли молодые люди. Они по-быстрому забежали в магазин, вынесли из него с десяток

пачек каких-то книг. Я услышал их разговор: «Сейчас отъедем за город и сожжем...» Я зашел в магазин и поинтересовался у продавца, что это за книги вынесли сейчас эти молодые ребята? А он мне: «Да это последний номер альманаха «Поэзия»».

На этом история с ним не заканчивается.

Вскоре многие члены его редколлегии получили письмо Константина Симонова, секретаря правления Союза писателей. В нем утверждалось, что стихи «Ты себя под Лениным чистил...» написаны Ярославом Смеляковым якобы в невменяемом состоянии, что он потом был категорически против их публикации, но они были похищены из его рукописи и вопреки его воле напечатаны.

Далее Константин Михайлович в ультимативной форме требовал, чтобы каждый член редколлегии альманаха ответил на два вопроса: был ли он ознакомлен с этими стихами до их публикации и одобряет ли он или осуждает их публикацию?

По форме это уже походило на допрос.

Некоторые члены редколлегии (М. Львов, Р. Казаков) уклонились от ответа, не прислали его Симонову.

Остальные сообщили ему, что до публикации этих стихов не видели, а саму публикацию считают недостойной и осуждают ее.

Только Василий Федоров прислал ответ, в котором заявил, что он был ознакомлен с этими стихами до их выхода в свет (хотя на самом деле их не видел), что одобряет эту публикацию. И кроме того, просит, чтобы после его смерти все его стихи были напечатаны, независимо от воли его наследников, поскольку он сам отвечает за все, что им написано.

Думается, что Ярослав Смеляков тоже отвечал...»

Мне кажется, что соплеменники К. М. Симонова мстили Николаю Константиновичу. В 70—80 годах у него выходило много книг, но о них критика писала меньше, чем они того заслуживали. В критиках подвизалась, как правило, целая армия «симоновцев», всегда деливших литераторов на своих и чужих. Николай Константинович оказался за чертой «своих». Однажды я ему так прямо и сказал. Он подумал немного и ответил: «А разве стихи Смелякова не стоило публиковать?»

Воистину поэт Николай Глазков трижды прав, когда написал:

*Слава — шкура барабана:  
Каждый колоти в нее.  
А история покажет,  
Кто дегенеративнее...*

А все-таки десятый номер альманаха «Поэзия» дошел до провинции. Два поступивших экземпляра я выкупил и подарил Степану Яковлевичу, не сумевшему достать номер со стихами своего друга.

В «Литературной газете» Я. В. Смеляков помог С. Я. Позднякову опубликовать значительную подборку стихов, написав к ним теплое предисловие. У Степана Яковлевича начали выходить книги. Когда он обратился к Ярославу Васильевичу за рекомендацией для вступления в Союз писателей, тот ответил категорически: «Нет».

Слишком высокую планку истинной поэзии держал Мастер...

В прекрасных стихах Я. В. Смелякова, написанных в 1941 году «Если я заболею...» и ставших по сути дела народной песней, прекрасна и концовка:

*От морей и от гор  
Так и веет веками,  
Как помотришь-почувствуешь:  
Вечно живем  
Не облаками белыми*

*Путь мой усеян, а облаками.  
Не больничным от вас ухожу коридором,  
А млечным путем.*

Он знал себе цену. Знал, что на его творчестве секретам поэзии учатся, и будут учиться живущие и грядущие поколения людей, причастных к тайне Слова.

Жизнь и ее продолжение после смерти, естественно, зависят от судьбы человека, ведущей его по путям-дорогам. Слишком перепутались они у Ярослава Васильевича: звездные взлеты до самого Млечного Пути чередовались с черной полосой жутких падений в глубокие пропасти не до конца разгаданных тайн ушедшего века — все вместило в себя не такое уж и долгое существование поэта. И нечего удивляться, что даже серьезные энциклопедии перепутали годы земной жизни Я. В. Смелякова, отталкиваясь от них А. Меситов пишет: «Он не дожил месяца до своего шестидесятилетия». Вроде бы все правильно...

Я посмотрел многие энциклопедические словари, в том числе и наиболее «свежие» — «Советский Энциклопедический словарь» /Москва. Советская энциклопедия, 1990/, в котором годы жизни Я. В. Смелякова указаны — 1912/13—1972, а в «Тулском библиографическом словаре» в 2-х томах более решительно: 26.12.1912—27.11.1972.

Тогда почему сам поэт в уже указанном двухтомнике «Избранное», пишет, что родился он в 1913 году. Ошибиться он не мог. Опечатка также не могла закрасться в его автобиографическое изложение. В то время корректуру давали на подпись авторам и все они добросовестно вычитывали ее. А вот В. В. Друзин написал: «Ярослав Васильевич Смеляков родился в Луцке 8 января 1913 года». Писал он со слов поэта.

Степан Яковлевич неоднократно упоминал, что они одногодки с Ярославом Васильевичем. А он знал дату рождения друга...

Многое в истории России запутал XX век...

После смерти Я. В. Смелякова — одного из крупнейших поэтов Советского Союза в Новомосковск зачастили столичные журналисты, пытаясь проникнуть в архив поэта, добыть скрытую сенсацию. Но Степан Яковлевич ни с кем не захотел встретиться, поделиться своими воспоминаниями, содержанием материалов поэта. В 1973 году в передаче всесоюзного радио одна журналистка жаловалась на холодный и безрезультатный прием ее С. Я. Поздняковым.

Я слушал эту передачу и при очередной встрече рассказал Степану Яковлевичу о ней. Он как всегда решительно махнул рукой: «Нечего ворошить прошлое!»

Как руководитель самых крупных литературных объединений области — Новомосковска и Узловой, начиная с шестидесятых годов, мы часто встречались с ним. Намечали совместные занятия, проведение литературных вечеров и дней поэзии, готовились к областным семинарам. Я периодически бывал у него в квартире на Березовой улице — в доме перед березовой рощей, воспетой в стихах Степаном Яковлевичем. Архив Я. В. Смелякова он хранил бережно.

У нас установились дружеские доверительные отношения. Нередко возникал разговор и о Ярославе Васильевиче. Со святым благоговением он относился к нему. Показывал различные документы архива, зачитывал выдержки из писем, вспоминал эпизоды совместной жизни и работы. Умолчал он только об одном, очень неприятном эпизоде: однажды между ними пробежала черная кошка. Не будем ворошить и мы неприятную историю. Живые свидетели тех дней уходят один за другим. Их уже осталось только двое...

Нам посчастливилось осознанно жить четверть века, когда широко разносилась слава Я. В. Смелякова. Он много писал и публиковался, и каждая публикация его становилась событием в литературной жизни Советского Союза.

Довелось нам близко общаться и с живыми знакомыми Ярослава Васильевича: Василием Кулятовым, Павлом Поддубным, Сергеем Ткачевым, другими поэтами и прозаиками. На занятия заглядывали и К. И. Разин, первым протянувший руку помощи изгнаннику, когда он снова попал в круговерть эпохи. Живые свидетели — они поведали нам правду о земном аде, через которой прошел известный поэт, о его подвиге — оставаться всегда Человеком. Они передали нам частицу его мощной благотворной энергетики. Именно ее импульсы, пульсирующие в строках истиной поэзии, помогли нам на трудном пути постижения Слова.

Несколько десятков воспитанников литературных объединений Мосбасса стали профессиональными литераторами. Говорю с полной убежденностью в правоте вывода: подобного явления не произошло, если бы трагическая судьба Ярослава Васильевича не завела его в тихий город у истоков Дона.

Мы помним и чтим большого русского мастера Слова, его сподвижников, увы, уже ушедших от нас. С благодарностью и благоговением говорим: «Низкий им все поклон, пусть будет пухом родная земля, а вечную память мы сбережем и передадим потомкам».

В годы расцвета творчества Ярослава Васильевича, его всенародного признания, за ним закрепилось высокое звание **ДЕРЖАВНОГО ПОЭТА**. Он писал о великой державе, ее прекрасных просторах, «милых красавицах России», мужественных людях, их созидательном труде на одной шестой части земного шара. Судьба его гнула и ломала, но он шел по жизни прямо и честно делал дело, для которого и был ниспослан на землю. Именно поэтому он и заслужил славу большого поэта великой державы — державного поэта.

## **СИРЕНЬ МОЕГО ДЕТСТВА**

*Лирическое отступление, навеянное стихами Ярослава Смелякова*

### 1

Чаще всего люди влюбляются весной. Мелькают годы, десятилетия, приходит новая любовь, увы!, и такое случается, но самая первая навсегда поселяется в сердце, выбрав в нем собственный потаенный уголок. Гони ее не гони, вытравливай, отвергай, ан нет — из дальних лет страницей воспоминаний замаячит чистая, трепетная, волнующая, до мучительности памятная. И та весна памятная — особенно памятная весна. Не думаю, что приписываю тайну явления любви весне, но весной влюбился сам, весной влюблялись мои друзья и знакомые.

Весна...

Небо прочищено до запредельной глубины, освобождено от зашторенности зимних облаков. Вот они необычайно ласкающие теплые лучи солнца — веселого и доброго. От избытка щедрости рассыпались они на окна домов, на потемневшие сугробы во дворах, на первые лужицы, где в каждой на доньшке присело по солнцу, искрясь и улыбаясь. И ты переполняешься светом, и, кажется, сам начинаешь сиять и светиться.

Иду по улице, радуюсь своей юности, избытку сил, обновлению природы, суматошным воробьям и голубям, что устроили птичий базар на асфальтовой проталине двора. Они охвачены неудержимым порывом своего утверждения на земле. Их оперение на солнце переливается всеми цветами и соцветьями известных и неизвестных драгоценностей — играют и сверкают перья и перышки. Энергия продолжения рода угадывается в птичьем чириканье и ворковании. В карусели неразберихи просматриваются, однако, затейливые танцы женихов вокруг своих избранниц под разногололье бесхитростных песен. Птичьи свадьбы во дворах длятся с рассвета до заката и, похоже, перерыв на обед у них не предусмотрен.

В этот двор я заглянул и на следующий день. Залюбовавшись птичьим торжеством, я в начале и не заметил, что напротив меня в подъезде дома стоит белокурая девочка с портфелем в руке и тоже смотрит на птиц. Она почувствовала, что я смотрю на нее, взглянула мне в лицо. Наши взгляды встретились, и она не отвела глаз. Я шагнул к подъезду. Так пришла ко мне любовь.

Набегали и убегали годы. Они приносили и уносили радости и огорчения. Жизнь меня гнула и ломала. Генетически в меня заложены откровенность и прямота, поэтому с годами наживал все больше синяков и шишек. Наверно, я становился мудрее, ибо без зонта уже не выхожу в дождь. Но всегда весной я люблюсь неугомонными воробьями и более степенными голубями. Они наши вечные спутники и без них было бы скучнее.

Этой весной я вновь восторгался птичьей суетой, чириканьем и воркованьем. Два воробья затеяли драку, видимо, не поделили подругу. Один из них взлетел на ветку куста остролистника и, подброшенный ей, спикировал на соперника. Да так неожиданно и удачно, что тот перевернулся вверх лапками. Я перевел взгляд на подрагивающую ветку, а потом на кустарник, окружавший наш двор. И впервые мне подумалось, что они тоже извечные спутники человека. Они, молчаливые и незаметные, тоже необходимы нам — ягодные и декоративные. Человек полюбил их за целебность, неповторимость аромата, ажурность листвы и переплетение веток.

Весной, вслед за неприхотливыми птицами, первыми просыпаются кустарники, стряхнув со своих веток снежную навесь. А вскоре весеннее пламя листвы охватывает их. Они же первыми и зацветают. А потом на протяжении всего лета радуют нас годами всех цветов и оттенков — от миткальной белизны до жаркого рубина, от успокаивающей прозрачности янтаря до холода угольной черноты.

А какие живописные полотна они дарят нам осенью! Даже в дождливую сызкую пору от них исходит жизнеутверждение солнца, загадочность свечения звезд и запредельных созвездий. Если спокойно на душе, посмотришь на влажную аллею невысоких кустов, в высверках хрустальных капель, готовых сорваться с листьев и приходит успокоение от оттенков и тонов ягод, вобравших в себя летние зори. И так до самых устойчивых морозов. Но и тогда они не скудеют в своей щедрости. Красная и черноплодная рябины, невысокие декоративные кусты — открытые столовые для всех птиц и пичужек.

Задумался я, и вдруг в память ворвались далекие годы. И вспомнились мне заросли сирени. Не той, что опять же весной, вспениваясь, буйствует в своей кипени соцветий и радует нас на улицах городов и селений, в садах и лесопосадках. А вошла в глаза мне другая сирень — сирень моего детства. Но в рассказе о сирени не обойтись мне без добрых слов о селе Щукавка Воронежской области, об овраге моего села и о саде, который убивали на моих глазах.

## 2

Детская память, что губка. Она вбирает в себя казалось бы незначительные события стремительно бегущей жизни. Но вот на склоне лет, из дальних потаенных уголков, она неожиданно высвечивает вроде бы давно забытое, зашторенное делами и заботами повседневности бытия. И когда-то промелькнувшие события, случаи раскрываются по иному всей полнотой своих и чужих ошибок, трагизма последовавшего за ними. И тогда издерганное сердце сначала сдавливает, а потом пронзает острая боль непоправимости горьких страничек жизни, невозможности переписать их на белом, согласно законов Божьей благодати.

Прошло полвека, как голод и нищета, постоянная тень клеветы, витавшая над «семьей врага народа», выгнала меня из родного села раздольных степных просто-

ров. Тогда в годы войны и после долгожданной Победы оно мне казалось огромным, прекрасным и единственным в мире. Впрочем, вечным и единственным оно и есть... для меня и всех родившихся в нем.

В часы раздумий или грусти, среди постоянной кутерьмы дел и забот, стоит мне прикрыть глаза, как сразу же вижу четкую панораму безлесных окрестностей и само село. Картина села особенно хорошо представляла с Марьинского бугра при возвращении из районного центра городка Эртиль, что раскинулся в долине речки Эртилец за восемнадцать километров от Щукавки. В те времена подобное расстояние не считалось большим. Сельчане ходили в район обыденкой — утром выходили и возвращались к вечеру. Туда их водила нужда. На рынке можно было обменять что-нибудь на зерно. Его дробили на ручной мельнице в крупу. А из нее, экономя, варили жидкий, но все же питательный суп. Мама брала с собой чаще всего меня. Особенно, когда мы водили сдавать «на поставку налога» теленка или возили на тачке кур, кроликов, барашка. Что-то из живности удавалось сэкономить от налога и тогда ее обменивали опять же на зерно...

Что-то взгрустнулось. Сижу, прикрыв глаза. И выплывает из летнего марева, медленно разрастается как на экране мое родное село. Вижу четыре улицы, длинных и нешироких. Они сходятся друг к другу под прямым углом, образуя квадрат. С юга на север, на невысокое взгорье поднимаются, разделяя село на четыре равных части, три переулка. А их, словно гигантской рогатиной, охватил глубокий и сырой овраг. С ним тоже прочно связано мое детство, детство моих многочисленных друзей.

Летом овраг зарастал буйными кустами лозняка, густой болотной травой и осокой. Под крутыми берегами оврага били — пульсировали многочисленные родники, вода которых в жару притягивала к себе прозрачной голубизной, необыкновенным вкусом и легкостью, холодком, ломящим зубы. Некоторые родники заботливо расчищены — образованы криницы. К ним протоптаны тропинки, с удобными ступенями, вырытыми в глинистом склоне оврага. Прохожие и жители ближайших домов пользовались целительной силой родниковой воды. Всматриваюсь в память и вижу, как от каждого родника, змеясь, струится ручеек, давно утвердивший себе путь между кустов и зарослей травы. Уверенно сбегает он на самое дно оврага, где другие ручейки уже образовали стремительный ручей, бегущий за село к реке Эртилец. Ручей местами отвоевал у оврага пространство под небольшие плесы.

В них в изобилии резвятся серебристая уклейка, а в траве под бережком плеса любят дремать жирные и верткие гольцы. Здесь же можно было встретить пучеглазого, усатого рака.

В мрачных и сырых зарослях оврага весной и в начале лета буйствовали соловьи. Их неподражаемые рулады и коленца наполняли окрестность утром и вечером, днем и ночью. Они не знали усталости в любовном порыве, убаюывая своих подруг в яйценосную пору и тогда, когда те высиживали птенцов. Песни соловьев обрывались вместе с появлением потомства: некогда веселиться, надо неустанно кормить деток, аппетит которых возрастает с каждым днем...

Зимой мы любили кататься с крутых, склонов оврага на самодельных лыжах и санках. Лихо спускаешься по накатанным следам. Забывается все — ты во власти снежного вихря, посвиста ветра и скорости. «А какой же русский не любит быстрой езды?» Лето приносило в овраг другие игры: война, партизаны, разведчики. Фашистами и предателями не хотел быть никто. Мы выбирали друг друга по очереди — тогда не так обидно. Впрочем, весной, летом и осенью на игры времени у нас почти не оставалось: мы помогали взрослым в домашнем хозяйстве и на колхозных полях.

Левый рукав оврага заканчивался луговой низиной, к которой подходил наш огород. Под прямым углом низину пересекала дорога. Ее от нашего огорода и сада отгораживали заросли сирени. Когда-то в старину вдоль дороги проходил широкий ров, а

на его валу росла сирень. Время почти заровняло ров, а вот сирень продолжала расти, расплзаясь по валу и впадине рва. Сирень подходила к лугу, а луг служил началом оврага.

Я вспомнил о сирени, о сирени моего детства. Но оказалось, что сирень не отделима от сада и оврага.

Сад...

### 3

Я прикрыл глаза и увидел, что стою на тропинке, ведущей от избы к саду. Вот справа от меня растет огромный куст зари. Так в нашем селе называли любисток. Именно на заре от этого чудесного целебного растения исходит особенно пьянящий аромат. За ним полнеба загородила развесистая антоновка. Ее четыре толстых ответвления отходят от основного ствола на метровой высоте. По ним мы легко взбирались до самых вершин, пытаясь дотянуться за самыми крупными и зрелыми яблоками.

За антоновкой — анис, а за ним — грушовка. Слева в гордом одиночестве, чуть уступая антоновке в размахе ветвей, красовался белый налив. Дальше за яблонями росли сливы и вишни. А за ними разостлан небольшой луг. От этого луга и начинался рукав оврага. Он хорошо виден от сада...

Вот оно мое родное село опять стоит в глазах. А по улицам и переулкам, невидимой волной ползет тревога, леденящая и наши детские душонки. От избы к избе степенно поторапливаются старики, семянят старухи. Они встречаются, по деревенскому обычаю громко разговаривают. Старухи чаще всего тараторят, суетливо жестикулируя руками. Солидно, неторопливо бясят старики. Многие при этом дымят самокрутками отчаянно крепкого табака собственного посада. Клубы едкого дыма беспощадно окутывают старух, но они не сегуют — не принято.

Тревога угомонила и нас — детвору. Друзья-товарищи не собираются вместе, а кучами с братьями и сестрами почти у каждой избы ожидают что-то пока непонятное, но явно неприятное. До нас доносятся часто повторяемые слова «указ» и «налог». Это слово я знаю: мне порой доверяли носить и сдавать налог, чем я гордился. Принимал его кладовщик Ефремыч, вернувшийся с фронта на деревянной ноге. Ходил он в военной форме, а на груди его сверкали две медали. При каждом шаге они мелодично позванивали друг о друга. Принесенный налог он бережно раскладывал по ларям. Слюнявя карандаш, Ефремыч записывал в амбарную книгу и негромко повторял вслух: «Десяток яиц, полтора килограмма масла топленого».

Бабушка перетапливала масло в глиняной чашке. Когда оно остывало, бабушка вынимала застывший круг — пахучий и поблескивающий. Она бережно обертывала его чистой тряпичей. Налог уводил со двора теленка, овечек и настриженную с них шерсть. Он же забирал у нас почти все молоко. Его по утрам мы сдавали деду Матвею. Он разезжал на мохнатой старой кобыле, впряженной в телегу, заставленную бидонами. Слово «налог» я ощущал, как голод, постоянно живущий в животе. Но даже малые дети понимали, что налог необходим и терпели голод, правда, с большим трудом. Бабушка часто успокаивала: «Терпите, терпите, ребятки. Может наше маслице попадет к Илюхе (отцу) и Жоре (старшему брату). Поди с голодухи им ярманца не осилить».

Но вот сегодня меня беспокоило незнакомое, пугающее слово «указ». В конце концов, все прояснилось. По селу прополз слух, что ожидается указ правительства по обложению садов налогом. Придется платить за каждое дерево. Он предполагается большим, платить нечем и, пока не поздно, надо вырубать сады.

Вечером, управившись с делами по хозяйству, мы ждали, когда бабушка скажет нам долгожданное: «Ну, слава Богу, убрались. Теперь можете погонять», — так она называла наши игры с соседними ребятами. Сегодня она неожиданно произнесла:

— Пойду к Кузьмичу, посоветуюсь. Мужик он толковый и грамотный. Опять же власть. Ему видней.

— Бабушка, возьми меня с собой,— попросился я.

— Пойдем, коли хочешь.

Кузьмич — наш сосед — маленький горбун. Наверно поэтому голова его казалась неестественно большой. Он работал председателем сельсовета. В селе его называли «власть», и побаивались все, даже наша бабушка. Он любил ребятишек. Жили они вдвоем с тетей Наташей. Их единственный сын Санька ушел на войну вместе с нашим старшим братом Жорой. Вскоре на Саньку пришла похоронка. Может быть поэтому Кузьмич привечал ребятишек. Мы часто вечером собирались у его дома, окружали тесным кольцом. Неторопливым ровным голосом он рассказывал нам о войне, о Гитлере, о зверствах фашистов. В селе не было ни электричества, ни радио перестали привозить кинофильмы. Кузьмич заменял нам все. Слушая его, каждый из нас, как и я, думал об отце, старшем брате, сражавшихся со злыми и жадными фашистами.

Мы подошли к дому. Кузьмич сидел на завалинке с газетой, но читать уже становилось темно. Бабушка поздоровалась с поклоном. За ней и я поспешил со своим «здравствуйте».

— Здравствуйте, соседи,— густым басом приветствовал нас он.— Что за нужда привела вас?

— Кузьмич, голубчик! Поясни ты нам неграмотным, что люди толкуют об указе и налоге на сад?

— Зря толкуют. Указа никакого нет.

— А все говорят скоро будет.

— Таких указаний пока нет. Ничего не говорится и в «Правде»,— он зашелестел газетой, как будто подтверждая, что в ней действительно нет указа о налоге на сады. Но если говорить о дополнительном налоге, то ведь война. Жгут, разоряют нас фашисты. Сейчас стране много средств требуется. Придется нам еще помогать. У меня-то сада нет.

— А как же наша орава? Одно утешение для них — вишни, сливы, яблоки. Правда, сад чуть ли не половину огорода занимает. А картошки до нового урожая — в натяжку. Наверно придется порешить сад, пока налог не пришел, тихо говорила бабушка, как бы сама с собой.

— Не знаю, не знаю. Я в таких делах не советчик.

Мы попрощались и пошли домой.

«Наверно Кузьмичу пока нет указаний рассказать о налоге на сад». Вот он и скрывает. Власть на то и власть, чтобы всю правду сразу не говорить народу»,— тихо говорила бабушка то ли мне, то ли себе. Я поспешал с ней рядом.

У старших братьев и сестер все мы рано учились читать и писать. Была у нас и небольшая библиотека, где имелись и книги для детей со стихами и сказками. Долгими зимними вечерами, прижавшись друг к другу на теплой печи, кто-нибудь у коптилки читал вслух чаще всего Пушкина, Лермонтова, Некрасова, других русских поэтов. Из прозы в такие вечера мы любили слушать Толстого, Горького, Чехова, Тургенева, рассказы о войне. Больше всего удивился, когда узнал, что Кольцов и Никитин наши — воронежские. Мне почему-то казалось, что все писатели живут обязательно в Москве и Ленинграде.

Любая новость по селу во все времена разносится мгновенно. Утром разговоры о садах возобновились.

— Ничего, ребята, не страдайте. На месте сада мы посадим еще картошки, огурчиков, помидорчиков. Авось и не умрем с голоду,— смиренно говорила нам бабушка.— На все воля Божья.



— Как люди, так и мы,— поддержала ее старшая сестра Зина, работавшая почтальоном.

Разговоры о саде разбудили во мне стихи Некрасова:

*Плакала Саша, так лес вырубали,  
Ей и теперь его жалко до слез.*

Представил я плачущую Сашу, похожую на мою подружку Дусю в слезах, увидел падающие деревья — они умирали, печально опуская к земле ветви. Мне стало грустно-грустно. Вторая дверь, из наших сеней выходила в сад. Я открыл ее. Было свежо — к нам подходила осень. Листья на деревьях желтели, и уже опадали. Деревья стояли задумчивые и усталые. Они отдалили нас ароматными плодами и теперь отдыхали. А вот их скоро начнут убивать, срубая под корень. Из глаз потекли слезы. Я побежал за плетень двора, где пока еще на теплом солнце грелся наш преданный и ласковый дворняга Орел.

На следующий день с утра по селу застучали топоры, зашипели пилы, яростно вгрызаясь в тело груш и яблонь.

«Ду-у-чик! Ду-у-чик!»,— злобно лаяли топоры.

«Ши-и-ир-шир! Ши-и-ир-шир!»,— хищно шипели пилы.

Дробясь о берега оврага и о стены домов, множилось многократно и устремлялось за село:

«Ду-у-чик! Ду-у-чик!»

«Ши-и-ир-шир! Ши-и-ир-шир!»,— забивало все звуки села, звучало в ушах до озноба в теле.

«О-хо-хо! О-хо-хо! Грехи наши тяжкие»,— вздыхала бабушка Фекла Федоровна. И в свои преклонные годы она оставалась рослой, прямой, красивой и гордой.

«Наша порода на всю округу была известна. От женихов никогда отбоя не знали. А парни могли выбирать любую девку, не опасаясь отказа. За сто верст приезжали сваты»,— не раз с особой важностью рассказывала она.

Знали мы и другой ее рассказ: «Я родилась в большой и богатой семье, дружной и работающей. Все богатство нажили своим трудом. Батраков никогда не держали. Любое дело для себя сам всегда лучше делаешь».

С нами бабушка держалась строго, требовательно относилась к выполнению поручений, но мы чувствовали справедливость, поэтому ее любили, уважали, но и побаивались.

«О-хо-хо! О-хо-хо!»,— время от времени продолжала протяжно стонать она. — «Господи! Помилуй нас грешных! Спаси и сохрани нас, Господи!» При этом она степенно осеняла себя крестом.

Справившись с утренними заботами по хозяйству, мы позавтракали.

— Что же нам делать с садом? Одним никак не свалить яблони,— рассуждала бабушка.

— Бабушка, свалим сами! — перебивая друг друга закричали мы. Нам и впрямь казалось, что мы сумеем справиться с вырубкой сада. Сестра Юля и брат Иван уже ходили в школу, и мы считали их взрослыми. — Вон сколько папиных инструментов: и топоры, и пилы есть.

— Нет, ребятушки, не справимся мы. Дело опасное — придавить нас может деревом. Тут мужицкий опыт и хватка требуется. Бабушка двумя руками поправила на голове платок в синий горошек и скорбно поджала губы. Завтра поговорю с Лексеичем.

Утром для подмоги пришел дальний родственник со странной для села кличкой Рабин. По переулкам уже неслась пугающе-тревожная переключка топоров и пил.

Дед в штопаных фуфайке и брюках. Он высок, сутул, широк в кости. Лицо зарос-

ло серо-сизыми клоками волос, напоминающих шерсть нашего Орла. Синеватый нос утопал в желтых прокуренных усах. А между клоками волос посверкивали красноватые, слезящиеся глазки. Сегодня его голову вершил обвисший, полуоблезлый треух. «Матерого волка я прижучил в овчарне» — рассказывал дед о своей шапке. Он работал ночным сторожем.

Явился он с лучковой пилой и хищно поблескивающим направленным топором. Прежде всего бабушка налила ему полкружки свекольного самогона и покормила. Насытившись, дед подобрел, даже без треуха вышел на улицу.

Он пригладил редкие волосенки на голове. Доставая из бездонного кармана коротких брюк неопределенного цвета кисет, дед присел на заваленку.

Свернув солидную самокрутку, он разжег трут из ваты с помощью «катюши» — кресалом ударяя по кремню. Получалось у него все неторопливо, но ловко.

Осень стояла сухая и, солнечная. Уже на пожухлой траве-мураве мы вчетвером расположились напротив деда в ожидании его команды. Покуривая, дед посматривал на нас и философствовал:

«Все нам дается свыше. На все воля Божья, Бог даст, Бог и возьмет. Куда не кинь — без налога государству не обойтись,— дед почесал кончик носа и поправил усы.— И понятно, что нужны государству масло, мясо, яйца, шерсть. Раненых на него надо ставить? Конечно надо! Нельзя же им дать погибнуть. Меня-то в первую ярманскую войну в грудь ранили, газом травили. Но выходили, ничего, вот, живу. И кладовщика Ефремыча поправили. Пусть на деревяшке, но живой и колхозу уже пообяжет. Нет, без налога не обойтись. А сад жалко, хорошие яблоки у вас. Мы ведь родня и Федриха завсегда меня угощает, когда случается мимо проходить».

Из избы вышла бабушка и присела рядом с дедом.

— Не горюй, Федриха, мы скоро управимся, смотри, какие, гвардейцы у тебя! Помогут.

— Помочь-то помогут. Но им же без сада худо будет. Он у нас всегда был, сколько я себя помню. А яблони мой папаня обновил. Нет, жаль сад!

— А налог чем платить? За каждое деревце учетчик насчитает сколько? Вот и думай,— успокаивал он бабушку.

— Конечно, конечно,— бабушка согласно кивала головой. И все война проклятая! Разорила нас подчистую.

— Ярманец, ярманец виноватый,— желтым прокуренным пальцем дед тыкал в сторону запада, как бы стреляя из пистолета.— У меня вот к непогоде всегда раны жуют и жуют. Не сплю ночами. Хорошо, что сторожу: то с собаками поговорю, то овечек посмотрю — у них окот постоянно. Вот и примешь ягненокка, а где требуется, то и пособишь. На мне такая ответственность наложена. А там глядишь и доярки пришли. Выпью кружку молока — оно овечье джоже полезительное. В район раненым да больным увозят.

Мы, прижавшись друг к другу, слушаем разговор старших, не вмешиваемся — не положено.

Огромным солдатским ботинком дед раздавил окурок, на ощупь двумя руками подкрутил усы:

«Ну, гвардия, в атаку!»

Мы вошли в тихий и задумчивый сад, шурша опавшей листвой.

— По первой, Федриха, давай снесем вишни и сливы. Ребята стащат их, за огород на луг. Простору будет больше.

— Как скажешь, как скажешь покорно отзывалась бабушка. Тебе, Лексеич, видней, ты мужик опытный. Дрожащими руками она поправляла волосы, выбивавшиеся из-под платка.

Дед быстро вошел в рабочий азарт, да и сила в нем еще чувствовалась. Сноровисто, у самой земли двумя-тремя ударами крушил он подряд вишни и сливы. На каждом замахе дед выпрямлялся, топор взлетая, поблескивал жалом на солнце:

«Га-а-ах»,— слышалось кряхтенье. И тут же следовал звук топора:

«Ду-у-чик»,— вливаясь в переключку топоров и пил села.

Повсеместно крушили сады.

«Га-а-ах!»,— дед резко вонзал топор в очередное дерево.

«Ду-у-чик!»,— послушно и хищно отзывался топор.

Растерянные и присмирившие без привычного шума-визга по двое-трое мы брались за только что загубленное дерево, вытаскивали их на луг. Щадя нас, дед обрубал большие суки, облегчая дерево.

Бабушка прощалась с садом, как с живым. Она переходила от дерева к дереву, гладила шершавые стволы такими же шершавыми ладонями. Слезы текли по ее лицу, изрезанному множеством мелких морщин.

«Прости нас, Господи! Спаси и сохрани! Батюшки мои, батюшки мои! — причитала она. Анис, анис! Он у нас из всего села — крупный, медовый! Батюшки мои, батюшки мои! Прости нас, Господи! Спаси и сохрани!» Фартуком она вытирала мокрое лицо и крестилась, и крестилась, вымаливая прощения всеильного Бога, призывая его защитить всех нас грешных.

Под натиском пилы и топора из яблонь первым рухнул белый налив. Дед удобно примостился между двумя суками, достал кисет. Рассевшись на суках, как воробьи, мы тоже отдыхали. Подошла бабушка, стала перед дедом.

— О-хо-хо! Поди притомился, Лексеич?

— Годы, Федриха, годы. Затянувшись и выпустив очередной клуб дыма, дед левой рукой огладил клоки своей бороды:

— Еще одну свалю и шабаш — мочи нет. Завтра с утра я эту раскряжю на швырок, а ребята во двор стащат. Потом остальные свалю.

— Спасибо тебе, Лексеич! Слава Богу! О-хо-хо! О-хо-хо!,— снова застонала бабушка.

— Ты, Федриха, не скули, душу не выматывай. Опять же дров-то сколько! На несколько зим хватит кизяк разжигать. Не скули, не скули, а благодари Господа, что дрова твои налогом не обложили. Время придет, разведем новые сады. Разведем, разведем — без садов нельзя человеку, детям,— успокаивал бабушку дед, потягивая свою «козью ножку».

— Какие новые сады? — всплеснула руками бабушка. Мне-то уж до них не дожить.

— Дает Бог, еще как доживешь,— почесал дед затылок.— Вот я-то не доживу точно. А пока и без садов поживем. Господь не дает погибнуть нам грешным. Помогает же он России ярманца гнать. Факт, только он и помогает. Дед снял шапку и впервые за этот день перекрестился.

Но бабушка уже не слушала деда. Растерянная и поникшая она подходила к новой обреченной яблоне:

«Антоновка... Сколько себя помню, она всегда была у нас. Обновляли. А какая рожалась — в два кулака! Бабушка вытянула руки и сложила два кулака вместе, показывая то ли себе, то ли деду, величину антоновки.— До Рождества лежала в соломе,— причитала бабушка, вновь повернувшись к яблони и поглаживая ствол ладонями.— Достанешь бывало, надкусишь — янтарь-янтарем, хрусталь-хрусталем и дух, дух по всей избе расплывается! — она смахнула слезы тыльной стороной ладони! — А в капусте, ох и вкусна была! А капуста от нее духовитая-духовитая! Батюшки мои, батюшки мои! Прости нас грешных, Господи, прости и сохрани!»

Мне было грустно-грустно и очень жаль бабушку, жаль и сада. Теперь у нас не

будет вишень и слив. Не забраться нам больше на яблони, не выбрать самое-самое красивое яблоко. Оно всегда оказывалось и самым вкусным...

С южной стороны сада стеной стояла разросшаяся сирень. В селе я не видел ни у кого такого обилия сирени. Она не подлежала обложению налогом.

«Господи, Господи! — стонала-причитала бабушка. Сирень-то осиротела. Пусть она хотя бы останется и то слава Богу».

#### 4

После вырубki сада уютна, пустынна стала наша усадьба. Пни мы не осилили выкорчевать и они стояли скорбными надгробиями саду.

Сиротливо взирала на пни сирень, отгородив наш огород от проезжей дороги. Каждую весну она оживала и вспыхивала веселой кипенью густых соцветий. Тихими вечерами далеко-далеко окрест уплывал ее неповторимый аромат, присущий только сирени. В пору цветения на окнах избы у нас стояли пышные букеты сирени, а я всегда с грустью вспоминал о загубленном саде.

К любой ране, к любому нарыву мы непременно прикладывали прохладные, успокаивающие листья сирени и болячка заживала быстрее.

Осенью обильная листва сирени опадала, образуя между кустами мягкую теплую подстилку. Я любил забираться в самую гущу зарослей, прилечь на пружинящую, шуршащую листву и мечтать о будущем, о том, когда я стану взрослым. Я всегда учился на отлично и мне очень хотелось учиться дальше. Я еще не осознавал на кого мне надо выучиться: то ли на учителя, как старший брат Жора, то ли на агронома, чтобы выращивать богатые урожаи, не позволяющие людям голодать. Иногда мне хотелось стать военным, защищать страну и нашу Щукавку, если враги вновь нападут на нее. Тогда вспоминался отец, где-то затерявшийся в жестоких боях.

В мае между кустами сирени и во рву, мешая друг другу, из-под полусгнившей листвы неудержимо начинали вылезать бело-маговые тарелки шампиньонов. После дождя они были особенно крупными и мясистыми. И так до самой глубокой осени. Я любил собирать их, аккуратно срезая шляпки. От грибов исходил особенный, только им присущий запах. Я рассматривал нежные, ломкие розово-сиреневые пластинки и мне почему-то казалось, что этот приятный цвет у них от того, что они растут в сирени.

В голодные военные и послевоенные годы грибы частенько выручали нас: бабушка тушила картофель с грибами. Но и когда наступили более благополучные годы, мы не забывали о грибах.

Уехав из села, я многие годы в отпуск спешил неизменно в Щукавку, к маме, к друзьям детства. И всегда любовался сиренью, вспоминал и сад. Мне часто везло, и я набирал целое ведро душистых шампиньонов. И непременно говорил: «Спасибо тебе, сирень, сирень моего детства!»

Закрутила, завертела меня судьбина-бездорожица, а может моя беспутная натура. И бросало с севера на юг, с запада на восток. Неладное творилось и в стране: то все главное руководство министерство рыбного хозяйства за миллионные махинации расстреляют, то самый высший милиционер СССР застрелится, оказавшись хапугой и взяточником. Ими же, выяснилось позже, были и самые-самые «верные ленинцы». А тут еще Мишка Меченый из болотца вынырнул.

«Боже мой! — думал я.— Откуда подобные хищники и твари берутся, еще и за русских себя выдают. Действительно, только из болот и подворотен подобные индивидуумы могут выползть». Где-то за пределами сознания я уже слышал дыхание грядущего Антихриста.

Предчувствие, Высший Разум или Высокий Космос, что одно и то же впервые заставили меня задуматься о своей бесшабашной жизни: не пора ли остановиться-

притормозить? Уже много лет неведомая сила, бросала меня из одного края «союза нерушимого» в другой. Работа на стройках по договорам — шашка измучила меня физически и морально. За горизонтом уже маячила неизбежная старость. И потянуло меня неудержимо на жизнь оседлую, захотелось быть поближе к земле-матушке — иметь собственный сад.

Закончив очередную стройку, я распустил бригаду, вернулся в родной город и осел дома. Приближался мой юбилей и задумал я хотя бы раз в жизни преподнести сам себе приятный подарок. Не советуясь с женой (восстанет против!), я на «излишние» деньги купил дачу с садом-огородом. В один из свободных дней приехал к себе на дачу хорошенько все осмотреть, подумать о перепланировке по своему разумению и желанию. При ближайшем знакомстве я увидел густые поросли вишен и слив, запущенную грушу и яблони. Долго бродил, размышляя, что предстоит сделать. Не хватало памятных мне антоновки и белого налива. Их я привью на растущие яблони. Но меня чем-то еще не устраивал сад. Я присел на полусгнившее бревно, закурил и в раздумье прикрыл глаза. Тут же передо мной возникла картина моего детства: мы вырубали сад, бабушка плачет, ходит от яблони к яблоне, прощаясь с ними, как с живыми. А по краю огорода тянутся заросли сирени, осиротевшие после вырубki деревьев. Я услышал хищный лязг топора, разрывающее душу безжалостное шипение пилы и встревожено открыл глаза. Покалывало в груди, я отчетливо слышал учащенные удары сердца. Сирень! На участке не хватает сирени, сирени моего детства.

Из нашей большой, дружной и трудолюбивой семьи уже давно никто не живет в Щукавке. Из семерых братьев и сестер нас осталось, как поется в песне, только трое. Тонкой ниточкой с родимым краем связывает вдова старшего брата Надежда Кузьминична, мой молочный брат-директор средней школы деревни Марьянка, что в пяти километрах от Щукавки, Виктор Васильевич и его-наша старенькая мама-тетя Даша, спасшая меня своим молоком в лихолетье 1937 года.

У брата я бывал часто, но он умер еще в 1985 году. Война все же достала командира пулеметного расчета на шестидесятом году жизни. Тяжело болела и его жена — годы брали свое. Помню я их еще молодыми. Она-белокудрая учительница прекрасно пела под свою старенькую гитару. А брат прошел всю войны — с сентября 1941 года — по май 1945-го. Вернулся, увенчанный наградами. А победителю только исполнился двадцать один год. Он тоже работал в школе, где и встретился с Надеждой Кузьминичной. Их прекрасные сыновья Гена и Толя в июне 2000 года заехали за сестрой Юлей и мной, навестить больную Надежду Кузьминичну. Ребята из Москвы и Петербурга регулярно навещают родные места. Воспользовавшись случаем, я попросил Гену съездить в родную мне Щукавку. По пути мы взяли с собой и Виктора Васильевича в качестве штурмана.

И вот она вновь, как в частых воспоминаниях, прекрасно видна с Марьянского взгорья незабвенная малая родина — Щукавка. Защемило, пойманной птицей, затрепыхало изношенное сердце. О потрясших меня встречах, болях и радостях, если окажется интересно для других, я расскажу, когда успокоится душа от волнений и нахлынувших воспоминаний, вызванных свиданием с отчими местами, с друзьями далекого детства. А вот об одном я уже не могу молчать...

...Американец «Форд» с трудом осиливал русские дороги переулков Щукавки. И не мудрено — все вокруг заросло чертополохом! Гена отчаянно терзал руль, помогая американцу. И если бы не штурман Виктор Васильевич, значительно позже покинувший село и регулярно по делам бывающий здесь, мы бы наверняка застряли основательно. Я шепнул штурману, он улыбнулся мне понимающе и незаметно вывел Гену прямо к моему переулку — к сирени моего детства!

Ни следа не осталось от избы за полвека. Бузина да бурьян бушевали на месте нашего сада-огорода. Но вот сирень достойно отстояла свое право на продолжение

жизни! Я попросил Гену остановиться. Неделей раньше прошли теплые затяжные дожди и земля продолжала парить. Не обращая внимания на свой адидасовский костюм, я ринулся в заросли сирени.

— Матушки мои! Батюшки мои! — закричал я, напугав своих спутников. Они выскочили из машины.

— Что случилось?

— Ребятюшки, грибы! — Мои шампиньоны! — не мог сдержать своего возбуждения. Сорвав первый же ближний гриб, я разломил его. На меня пахнуло таким близким, таким памятным запахом! Это был запах моего детства!

Втроем набрали мы чуть ли не полный багажник. На обратном пути я рассказывал им о саде, о сирени моего детства, обо всем, что и поведал бумаге...

...Когда я приезжаю на свой дачный участок и открываю калитку, то всегда прежде всего смотрю налево. Здесь вольно себя чувствует куст сирени.

Но шампиньоны под ним не растут...



**Игорь Карлов**  
(г. Мапуту, Мозамбик)



**«ВСЕ МЫ СТОИМ ТОГО, ЧТО МЫ СТОИМ...»**  
О поэзии Ярослава Смелякова

*Кандидат педагогических наук Игорь Викторович Карлов — наш постоянный автор. В настоящее время работает учителем русского языка и литературы в школе при Посольстве Российской Федерации в Республике Мозамбик, лауреат всероссийской литературной премии «Левша» им. Н. С. Лескова.*

Пожалуй, пика славы Ярослав Васильевич Смеляков достиг незадолго до своей кончины. Тогда, в шестидесятых, окрашенная энтузиазмом двадцатых-тридцатых годов прошлого века поэзия пришлась ко двору романтикам, гревшимся в неярких лучах «оттепели». Самые известные стихотворения Смелякова — «Если я заболею...» и «Хорошая девочка Лида», оба написанные в 1940 году, приобрели особую популярность, причем одно из них стало песней, которую распевала страна чуть не хором (в нем, впрочем, были различимы и отдельные мощные голоса, например, Визбора, Высоцкого). Больше того: эти стихи использованы кинематографистами в обожаемых народом комедиях, а это то же самое, что стать героем анекдотов, то есть высшая степень признания, на уровне фольклора. «Ушла в народ» и блестящая стилизация Я. Смелякова из раннего (1931 год) стихотворения «Слепцы поют быт», пародия на песню незрячего шарманщика, которая запоминается с первого же прочтения и прочно оседает в памяти (думаю, что о «злодее-муже» дворовые да железнодорожные сказители-выпивохы повествовали многократно, даже не представляя имени автора, не догадываясь о карикатурном характере произведения). А в годы «перестройки», когда мы открывали «запретную главу» отечественной литературы, до нас дошло из 1967 смеляковское «Послание Павловскому», скорбное и гордое обращение к «крестному из НКВД», заканчивавшееся сдержанным обещанием встретиться со следователем, настолько сдержанным, что становилось тревожно...

Даже несколькими стихотворениями остаться в русской лирике — честь великая. Смеляков такую честь заслужил. Но сегодня, встречая вековой юбилей поэта, пора по-новому взглянуть на его искусство, пора ввести в читательский «оборот» и другие его стихи, пора с позиций нынешнего дня осознать суть его творчества.

А заключена она в изживании романтики. В этом процессе нет предательства идеалов молодости, нет утраты нравственных ценностей. Это взросление. Прощание с романтизмом — «многих славный путь», пожалуй, путь всей поэзии, завещанный самим Пушкиным своим последователям, вплоть до последнего оставшегося в мире пиита. Тот, кто не был романтиком в двадцать лет, подлец; тот, кого в шестьдесят не вдохновляет суровый реализм, глупец.

Ярослав Васильевич Смеляков ни подлецом, ни глупцом не был. Он был революционному романтичен в юности, рвался участвовать в «справедливых боях» и готов был жертвовать собой ради высшей правды, какой он тогда ее себе представлял. Сам поэт в автобиографии о тех годах писал: «...все мы с упоением дышали ком-

сомольской атмосферой начала пятилеток...» \* Этого комсомольского задора хватило бы на все человечество, включая девочку Лиду, проживавшую на улице Южной, и влюбленного в нее мальчишку. Романтика была лекарством Смелякова от всего несовершенного и неидеального, поэтому он советовал врачевать «жарким ветром пустынь, серебром водопада». Больничный коридор в двадцать восемь лет мало кому знаком, поэтому его можно представить себе даже млечным путем — такое же далекое и неведомое пространство.

А через пять лет после создания вдохновенных строк о беззаветной любви и дружбе, уже изведавший горечь несправедливых приговоров и тяжесть подневольного труда, поломанный и покалеченный жизнью, Смеляков нашагался по этим коридорам до тошноты, умоляя фельдшерицу Валу достать для него ключ от безнадежно запертых дверей («Я ж на всю святую Русь...», 1945). Так происходит прощание с романтикой. Так ощущается, как «дышат почва и судьба».

Судьба занесла Смелякова после войны в Подмосковский угольный бассейн, в город Сталиногорск (ныне Новомосковск Тульской области). Он явился в редакцию районной газеты и предложил свои услуги. Известного поэта, но неблагонадежного человека, лишённого права жить в столицах и крупных городах, рискнули принять на работу. Кто-то из сотрудников газеты приютил нового коллегу в своей «коммуналке»... Думается, отсюда, из города на редкость красивых женщин (по уверениям местных жителей, еще царь Петр, согнавший сюда несметные тысячи строителей заброшенного впоследствии канала, провел определенную «селекцию» подмосковных прелестниц), привез Смеляков мимолетную радость от встречи с девушкой, обладавшей глазами, напоминавшими ему по цвету антрацит («Дочь начальника шахты», 1946), и восхищение «Милыми красавицами России» (стихотворение 1945 года).

Сама же «горняков и шахтеров земля» с тех пор воспринималась поэтом в духе «строгой любви»:

*Не найдешь в ней цветов избилъя,  
не найдешь и садов неземных —  
дымный ветер, замешенный пылью,  
да огни терриконов ночных.  
Только тем, кто подружится с нею,  
станет близкой ее красота.*

(«Уголь», 1957)

Здесь, где плещутся воды легендарного Иван-Озера, где порастают быльем величественные Епифанские шлюзы, где берет начало Дон (а редакция газеты, в которой служил Смеляков, расположена буквально в двух шагах от истока великой реки), впервые задумался поэт об истоках России, о смысле пути своего народа, о цене, которую приходится платить за романтику революционных преобразований.

Отношение к петровским реформам, к личности первого русского императора уже несколько веков являются водоразделом для отечественной интеллигенции. Смеляков в стихотворении «Петр и Алексей» (1949) тоже подходит к разработке этой проблемы. Поэт нашел зерно образа Петра в факте предания пыткам и казни наследника. Раскрывая драматичные отношения в августейшем семействе, Смеляков одновременно и обращается к традиции русского искусства, и остается созвучен своей эпохе: тот же мотив звучит в «Восковой персоне» Тынянова и в пьесе Алексея Толстого «На дыбе», первый вариант которой заканчивался горьким сетованием царя на то, что он замучил сына. Толстой стремился показать трагизм исторической лично-

---

\* Смеляков Я.В. Стихотворения и поэмы. Л.: «Советский писатель», 1979. С. 52



сти, но товарищ Сталин, который, вестимо, великий ученый, поправил «красного графа»: не трагическая то фигура, а героическая. Ну, так тому и быть! И вот уже новая редакция пьесы триумфально шествует по сценам советских театров, вот уже выходит на экраны страны кинофильм о самодержце-революционере, вот уже публикуется роман «Петр Первый». И Смеляков в своем стихотворении, вслед за населением всего СССР, умиляется мужицкими руками монарха, который «день — в чертогах, а год — дорогах». Противостоит венценосному государственнику безвольный, «слабостный» царевич, по сути — враг народа, «до отчаяния» ненавидящий «все, чем нынче страна живет». К тому же Алексей «тайным мыслям подвержен слишком». Это, пожалуй, самый страшный грех. Враг, одним словом, из врагов враг. Ну а ежели враг, то и жалеть его нечего. Петру нужны «бомбардиры и трубачи», а не «начетчики и кликуши». Если же сын его оказался истеричным и малодушным — тем хуже для сына. С позиций конца сороковых годов тут и возразить нечего: не вписался в эпоху — в расход тебя! Такова логика борьбы. Смеляков эту логику не оспаривает, выдавая банальную строчку: «Ох, нелегкое это дело — Самодержцем российским быть!..» Конечно, вождам завсегда тяжелее, чем ведомым! О каждом из подданных думает батюшка Петр Алексеевич в своем дворце, его недреманное окошечко одно светится во всем Петербурге с вечера и до утра, его назвал Сенат отцом Отечества, лучшим другом физкультурников, величайшим языковедом и генералиссимусом. Все здесь понятно, все «в ценах» 1949 года. И вот лирический герой Смелякова уважительно склоняется перед памятником Петру: державу создал, значит — прав. Победителей не судят. А все-таки жалко становится и Алексея: «тусклый венчик его мучений» не затмевается императорским венцом отца. Вот это поворотный момент для последующего творчества Смелякова. Под грузом выпавших на его долю незаслуженных гонений у писателя возникает не вписывающееся в классовую парадигму сомнение: может быть, и с победителей следует спросить о цене их победы?

И далее почти двадцать лет в стихах Смелякова борются две тенденции: безотчетно романтическая и осмысленно гуманистическая. То стихотворец восторгается тем, что во время одной из встреч с детской аудиторией ему на грудь повязали красный галстук («Пионерский галстук», 1945), то восхищается «Рязанскими Маратами» (стихотворение 1961 года) и «Командармами гражданской войны» (стихотворение 1966 года), то радуется возвращению в обиход боевого клича красных конников («Даешь», 1957). В этом смысле Смеляков в полной мере соответствовал тому типу, который принято связывать со словосочетанием «советский поэт»: он и коммунистической символикой любителю («Наш герб», 1948), и стихи к празднику пишет («Стихи, написанные 1 Мая», 1953). А уж обращение к «Товарищу комсомолу» (стихотворение 1958 года) стало для Я. Смелякова общим местом. Поэтому составители сборника, выпущенного в академичной серии «Библиотека поэта» уже после смерти автора, в 1979 году, без обиняков называют лауреата государственной премии «выдающимся советским поэтом».

Но рядом с этим жила другая тенденция, которую явственно ощущала официальная советская критика. Анализируя произведения Смелякова, литературовед Б. И. Соловьев в конце семидесятых писал: «...утверждая пафос и романтику великих творческих преобразований, Я. Смеляков вместе с тем по временам слишком решительно подчеркивал суровость, резкость, даже «грубость» эпохи»\*. Двойственность смеляковского творческого кредо подметил и Е. А. Евтушенко, сказав так: «Я не встречал ни одного человека более советского и в то же время более антисоветского, чем Смеляков».

Разумеется, никакой антисоветчины в поэзии Смеляков не было, а были серьез-

---

\* Соловьев Б.И. Ярослав Смеляков. Стихотворения и поэмы. Л.: «Советский писатель», 1979. С. 20.

ные раздумья «о времени и о себе». Под влиянием этих раздумий обретает объем образ «комиссарки гражданской войны», пришедшей в почтовое отделение за денежным переводом, который причитался незаконно репрессированным лицам после реабилитации («Жидовка», 1963). И невольно задумываешься: эта пламенная революционерка не приходится ли матерью Любке Фейгельман, горько разочаровавшей влюбленного в нее лирического героя стихотворения 1938 года «Любка»? В начале шестидесятых он, уже многое переживший и переосмысливший, чуть иронично и вместе с тем заинтересованно разглядывает свою несостоявшуюся тещу...

Через глубокое сопереживание судьбе человека своего поколения («Мое поколение», 1946, «Вы не исчезли», 1946, «Ты все молодисься, все хочешь...» 1953) и др. поэт приходит к обобщению, на которое способны лишь благородные сердца:

*За подвиги свои и прегрешенья,  
за все, что сделал, в сущности, народ,  
без отговорок наше поколение  
лишь на себя ответственность берет.*

(«Мне говорят и шепотом, и громко...», 1972)

А от такой постановки вопроса всего лишь шаг до ощущения сопричастности отдельного человека исторической судьбе народа. Все чаще обращается автор «Хорошей девочки Лиды» к культурному и историческому наследию России: интересно заявлена у Смелякова пушкинская тема, он пишет о Л. Н. Толстом, о М. Ю. Лермонтове, адресуется к своим старшим современникам, к тем, кого мы сегодня называем поэтами «серебряного века» — Маяковскому и Ахматовой. Фигура Дениса Васильевича Давыдова становится в этом плане точкой пересечения сфер искусства и истории, и вот предстают перед нами Суворов, Меншиков, протопоп Аввакум, Иван Калита... Даже форма лирических произведений поэта с годами меняется и приобретает черты традиционных жанров. Среди заглавий мы встретим у Смелякова «Классическое стихотворение», «Элегическое стихотворение», баллады и оды; найдем и стансы, и эпиграфию, которые, казалось бы, навсегда остались на пыльных страницах хрестоматий.

В середине пятидесятых, вспоминая юность, Смеляков создает повесть в стихах «Строгая любовь». Ее герои готовы пригвоздить к позорному столбу свою ровесницу, показавшуюся им «мещанкой», поскольку выяснилось, что та порой занимается женским рукоделием. Придирчивые и аскетичные комсомольцы кипят негодованием по этому поводу, но их «праведный» гнев разбивается о спокойную уверенность в себе Зинки, наследницы поколений работников, мастеровых, создавших нерушимый уклад жизни, где роль женщины понятна и почетна. Один лишь взгляд девушки удерживает горячающихся товарищей от скоропалительных «оргвыводов». И тогда молодые люди впервые усомнились в непогрешимости внушенного им системой мировоззрения, начали осознавать, что лозунговое мышление никогда не даст здоровых, жизнеспособных всходов. Среди безоглядных романтиков, оторопевших от столкновения с неведомой им дотоле глубинной правдой жизни, находится и лирический герой поэмы, вдруг по-новому увидевший свою подругу, которая «...что-то лучше нас / сквозь все условности видала». Этот свежий взгляд постепенно, но основательно утверждался в творчестве Смелякова. Апофеозом такого укоренения следует считать стихотворение 1966 года «Сосед». В нем речь идет о «гражданине преклонных лет», прошедшем войну и ныне мирно копающемся на своих «четыре грядках» перед домом. Какие идеологические громы в свое время обрушивались на головы владельцев пресловутых «шести соток»! Но в глазах Смелякова заклеянный пропагандой как чуждый советскому строю элемент «Персонаж для шелкоперов, / Мосэст-

рады анекдот» превращается в хранителя родной земли (по крайней мере, той крохотной ее части, которую власть позволила ему считать *своей, собственной*). Поэт, смело вступая в полемику с официальной точкой зрения, не стесняется для намеренно лишённого патетики образа соседа подбирать самые великодушные дефиниции:

*...жизни главная опора,  
человечества оплот...  
Не ваятель, не стяжатель,  
не какой-то сукин сын —  
мой приятель, обыватель,  
неприметный гражданин.*

И слово «обыватель» здесь не сатирически-ругательное определение, а исконная, от «бытия» образованная лексическая единица, да и понятие «гражданин» звучит возвышенно, отзывается некрасовским эхом, а не бытовым «Гражданин, дай спичку!» Гражданин — хозяин земли, которая под его руками «не пропадает, а шевелится». Гражданин тот, кто обустроивает Россию «для житейской пользы дела / и еще для красоты». Декларируя такой взгляд на мир, восторженный певец первых пятилеток окончательно уступает место «новому Пимену», летописцу родной истории. Следовательно, мы вправе утверждать: поэзия Смелякова — живой пример того, как Россия «переваривала коммунизм».

Во второй половине шестидесятых Смеляков судит о прошлом уже зрело и самостоятельно. Какая радость открытия величия родного народа, какая надежда на него отразилась в стихотворении «История» (1966):

*И современники, и тени  
в тиши беседуют со мной.  
Острее стало ощущение  
Шагов Истории самой.*

*Она своею тьмой и светом  
меня омыла и ожгла.  
Все явственней ее приметы,  
понятней мысли и дела.*

*Мне этой радости доньше  
не выпадало отродясь.  
И с каждым днем нерасторжимей  
вся та преемственная связь.*

*Как словно я мальчонка в шубке  
и за тебя, родная Русь,  
как бы за бабушкину юбку,  
спеша и падая, держусь.*

В том же году появляется «Надпись на «Истории России» Соловьева». Сейчас внимательно: советский поэт Смеляков изучает не «краткий курс», а вполне академический труд дореволюционного историка, т.е. ученого из царского времени, т.е. идеологически заведомо чуждого. За это комсомольцы тридцатых своему товарищу такое бы устроили, только держись! Но романтика кавалерийского наскока уже уступила место вдумчивому осознанию того, что произошло со страной и народом, с самим поэтом. В его судьбе тоже отразилась История:

*Ее страницы, залитые кровью,  
нельзя любить бездумною любовью  
и не любить без памяти нельзя.*

А что еще лечит от легковесного романтизма? Родной язык. Стихотворение 1966 года «Русский язык» следовало бы включить в школьную программу наравне со знаменитым произведением Тургенева. У Смелякова язык является взору творящимся, еще не обретшим классические формы великого и могучего. Поэт показывает, в какой будничной простоте, в каких страданиях выковывается величие и могущество. Изначально наш язык струился из пор минувшего далеко не возвышенно: колыбель его бедна, как всякая крестьянская колыбель, он созидался не только материнскими устами, но и бормотаньем пьяного ямщика или прачки, говором мельника. И воплями сжигающих себя старообрядцев, и гордым молчанием пленников в фашистских застенках создавалась родная речь. Русский язык включил в свою лексику занесенные к нам неумолимым ветром истории татарские и немецкие слова, а в фонетику — чавканье по грязи разбитых лошадиных копыт и свиристенье сверчка за печкой в избе. Даже запах старой овчины и острого кваса впитал в себя русский язык. И лишь потом отлился в классические формы, которые сделали возможной как мечтательную поэзию Кольцова, так и чеканную публицистику Курбского. Ведь язык наш

*писался и черной лучиной,  
и белым лебяжьим пером.*

Размышляя об этом, Смеляков приходит к новому пониманию сути поэтического творчества. Если в стихотворении 1938 года «Точка зрения» автор видит задачу искусства в том, чтобы рассказывать «про весны пятилетки, про необычайную работу, про мою веселую страну» (хотя уже и в этом юношеском опусе отмечает необходимость овладения искусством как ремеслом), то в 1945 году приходит время сомнений: «Кто придет и кто меня научит, как мне жить и как стихи писать?» («Мальчики, пришедшие в апреле...»)

Ответ Смеляков ищет у близких ему по возрасту и духу поэтов, имена которых щедро рассыпаны на страницах его стихотворных сборников: Алексей Фатьянов, Борис Корнилов, Павел Васильев, Павел Шубин, Василий Казин... Невостребованность этого поколения ярче всего отразилась в судьбе их ровесницы, чье столетие отмечалось в начале 2012 года, Ксении Некрасовой, умершей в 46 лет от разрыва сердца. В стихах, посвященных памяти поэтессы, Смеляков как бы создает образ своей музы: терпевшая «пренебреженье, насмешечки, даже хулу», «вечно без денег, она всухомятку жила»; продиктованные детским наитием наивные «до прелести» строки редко появляются в журналах. И, тем не менее (печальная и точная метафора!), свое бедное платье подвально-чердачного покроя она стремилась «украсить матерчатым мятым цветком». Чувство ответственности окружающих за раннюю смерть Некрасовой составляет пафос стихотворения и многозначительно расширяет рамки его содержания.

Раздумья о судьбах сверстников подвигли Смелякова на создание произведения, равного которому по состраданию к собратьям по цеху не сыскать в нашей литературе. В 1946 выходят из-под его пера «Поэты». Кто же они, настоящие поэты, по мнению автора? По принципу «от обратного» Смеляков славит не знаменитых, вошедших в антологию стихотворцев, заслуженно составивших гордость отечественной культуры, и даже не своих «полузаметных» современников, встречавшихся с читателем хотя бы на газетных полосах. Автор поднимает голос в защиту «нерасслышанных имен». Это те, кто испытывает неутоляемую жажду творчества, но вместе с тем

страдает от столь же непреодолимого «затора косноязычья»; это те, кто не снискал известности, чей удел не тиражи новых книг, а усмешки сослуживцев и родни, ироничное отношение окружающих. Каким же актуальным оказалось это стихотворение Смелякова сегодня! Энтузиасты и невольники музы, вызывающие одновременно и жалость, и умиление, заполняют аудитории, где спорят о литературе, осаждают редакторов и издателей. Хорошо, что нынче приходит им на помощь интернет, в котором даже (простите за каламбур) неискusstvenное искусство находит определенный отклик, хорошо, что встречаются печатные издания, предоставляющие площадку для выступления начинающим и не имеющим возможности пробиться к читателю авторам (и как здесь добрым словом не помянуть журнал «Приокские зори!»). Вслед за Смеляковым, который, пожалуй, единственный так проникновенно написал о тех, кого принято именовать графоманами, который напомнил нам, что муза Данте, Пушкина и Блока приходит не только к талантам ахматовского размаха, но и к безвестным поэтическим камикадзе, бросающим свою жизнь в топку вдохновения без какой-либо надежды увидеть напечатанной хотя бы букву из того, что они написали, следует отдать дань уважения подвижничеству этих людей. По серьезности отношения к творчеству это самые настоящие поэты, у которых есть чему поучиться номинантам многочисленных литературно-тусовочных премий и «модным авторам». Именно подвижники, если угодно, юродивые от литературы в страшные для культуры годы сохраняют искусство, как умеют, теплят прометеев огонь; именно они создают питательную среду, без которой погибли бы окончательно и читатели, и писатели; именно на их плечах вырастают великие художники. Да и наше ли это дело — раздавать эпитеты? Время рассудит, кто станет для потомков великим, а кому суждено забвение. Смеляков и заметил, и оценил, и восславил бескорыстное служение вечности. За то и ему самому честь и хвала!

Требовательно относившийся к своему творчеству, Я. В. Смеляков причислял себя к когорте рядовых русского искусства. Об этом — в его стихотворении «Разговор о поэзии» (1958). Разговор ведется с «небрежным и суровым» коллегой, гордящимся своим даром и плодовитостью. Беседуя с ним, лирический герой Смелякова принимает упрек в скромности собственного таланта, «не без душевной боли» соглашается, что разменял его на «разные гражданские поделки». Но здесь же без всякой наигранности утверждает, что есть стихам и такое нелегкое предназначение: отзываться на «великие и малые события/ Чужих земель и собственной земли». Удивительно прозорливое стихотворение! Мало кто смог так точно определить свое место в поэзии:

*Не так-то много написал я строк,  
не все они удачны и заметны,  
радиостудий рядовой пророк,  
ремесленник журнальный и газетный.*

Высокая взыскательность по отношению к себе (может быть, даже мучительные сомнения в праве братья за перо, бесспорно украшающие любого литератора) не оставляла Смелякова с первых его публикаций и до последнего года жизни, когда он смиренно констатировал: «Что делать? Я не гениален, /нет у меня избытка сил...» В одном только не угадал автор «Разговора о поэзии»: и его строки, так же как строки заносчивого собеседника, можно было найти в девичьих альбомах или услышать, положенными на музыку.

Смеляков всегда был рядом со своим народом, мажорно приветствуя участие художника в соборном бытии, видя в этом залог бессмертия творца:

*Мне в общей жизни, в общем, повезло,  
я знал ее и крупно и подробно.  
И рад тому, что это ремесло  
созданию истории подобно.*

В современной литературе остро не хватает авторов, знающих реальную жизнь, предвидящих конечные пункты тех путей, по которым она развивается. Не хватает беллетристов, стремящихся к вершинам мастерства, не отделяющих собственных биографий от коллективной истории. Не везет нам сегодня на таких писателей. Но и им без серьезных и требовательных читателей, без нелицемерных критиков, без осознания общественной значимости творчества живется тоже несладко. Кто из нынешних версификаторов, играющих в поэзию, сможет вслед за гонимым, материально и бытово неустроенным Смеляковым искренне повторить: мне по большому счету повезло? Кто из них, казалось бы, успешных и благополучных, может быть уверенным, что через век его имя назовут потомки?

А Ярослава Смелякова мы вспоминаем сегодня и без колебаний включаем в теперешнюю роевую нашу жизнь. Оценки звучат разные: иные считают, что при общей значимости сделанного Смеляковым, творчество его «далеко не всегда отличалось изяществом слога и изысканностью речи», «отзывало «овчиной»<sup>\*</sup>; кто-то объявляет его великим русским поэтом лишь на том основании, что для заглавия одного из произведений выбрано слово «жидовка». Но это крайности, изживать которые следует учиться у самого Смелякова, никогда не имевшего в душе ни пренебрежительного по отношению к людям снобизма, ни слепой ненависти. Мы же впадать в крайности не будем. Нам, встречая юбилей Я. В. Смелякова, следует воздать должное его высокому ремеслу, осознать благородную значимость становления художника-патриота, пропускающего все происходящее со страной через свое сердце.

Сто лет со дня рождения Я. В. Смелякова... Нынешними читателями, постоянно спешащими куда-то с гаджетами наперевес, он воспринимается уже только как далекий предок, старик. А сам он в 1966 году в стихотворении «Не семена и не вразвалку...» почтительно описывает другого старика. Мысль поэта ясна и справедлива:

*Приостановится движенье  
и просто худо будет нам,  
когда исчезнет уваженье  
к таким, как эти, старикам.*

В новом веке по-новому прочитывая лирику Смелякова, эти строки хочется донести до каждого. И еще хочется процитировать из того же стихотворения: «... должны быть все-таки святыни / в любой значительной стране». Да, должны быть! И если мы собираемся ощутить значительность своей Родины и трудную славу ее истории, если мы стремимся постичь многомерность внутреннего мира своих сограждан, то снова откроем томик стихов Смелякова.

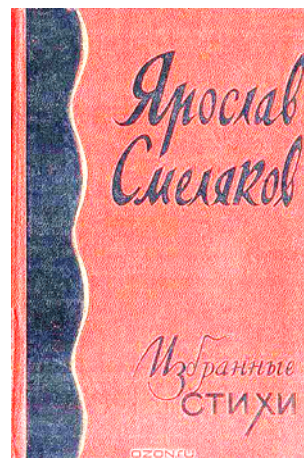


---

<sup>\*</sup> Соловьев Б. И. Ярослав Смеляков. Стихотворения и поэмы. Л.: «Советский писатель», 1979, 768 стр. С. 46

**Наталья Валентинова**  
(г. Москва)

## СЛОВО О ЯРОСЛАВЕ СМЕЛЯКОВЕ



В прекрасный летний день занесло меня на форум поэта в Интернете. Вердикт большинства участников звучал приблизительно так: «Не люблю стихов Смелякова, в том числе «Хорошую девочку Лиду», как типично советскую литературу». Задумалась: во-первых, в чем «советская типичность» бедной Лиды, а, во-вторых, не само ли прилагательное *советский* является таким устойчивым пугалом для некоторых немилосердно замороченных людей нашего времени??

Вооружившись воображаемой лупой, начала изучать упомянутое стихотворение в поисках, очевидно, пропущенных мною, при прошлых прочтениях, *родимых пятен социалистического реализма*. Возможно, это:

*Вдоль маленьких домиков белых  
Акация душно цветет.*

Вы тут ничего не видите? Акация, будь она неладна, по сей день позволяет себе цвести, невзирая на все государственные переустройства,— разумеется, в тех районах, где еще сохранились не успевшие сгореть древоподобные насаждения. А следующие строки?

*Хорошая девочка Лида  
На улице Южной живет...*

Чуете? — уже пробивается советский душок! Не «чувиха» или «телка», заметьте! Даже сопливые мальчишки младшего подросткового возраста сегодня частенько именно так титулуют своих одноклассниц, впрочем, те не особо и возражают. Кстати, название улицы, вероятно, намекает на прежний наш интернационализм, — не в честь ли южных народов названа пресловутая географическая единица?

Следом агитационно подмигивает «рыжий пройдоха апрель» — можно разглядеть явный намек на день рождения Ленина, а заодно и на триумфальный для СССР полет Юрия Гагарина. Зрим далее:

*Не зря с одобреньем веселым  
соседи глядят из окна,  
когда на занятия в школу  
с портфелем проходит она.*

Несомненно, типично советская пропагандистская строфа! Как говорится,— не намек, а сказано прямо, что народ в те времена уважительно относился к общему

образованию, которое для нормального человека XXI столетия должно оставаться нудно-комичной обязанностью, именуемой в соответствующей ученической среде *отсидкой* или *бредом*.

Однако, даже это — еще не конец! Юный герой стихотворения обещает читателю, — мол, «на всех перекрестках планеты напишет он имя ее».

*На полюсе Южном — огнями,  
пшеницей — в кубанских степях,  
на русских полянах — цветами,  
и пеной морской — на морях.*

Не мировой ли революцией грозит автор с помощью данной, пугающе завуалированной фразы, беззащитному западному миру?..

Проанализировав таким образом произведение, полное света и естественной человеческой чистоты, можно вывести формулу извращения природы немаленькой группы людей нашего времени, которые, вздрогнув при звуке слова *советский*, становятся неспособны воспринимать литературу, а за ней и другие виды искусства целого периода нашей истории — точно также, как и иные достижения той далеко неоднозначной эпохи. К примеру, в считанные годы тогда ликвидировали неграмотность и детскую беспризорность, — а нынче, в сроки, не менее рекордные, все это восстановили. Во время Олимпиад, чему я живой очевидец, — золото рекой текло на наших чемпионов, во многих видах спорта нам просто не было соперников — и не только в какой-нибудь борьбе, а в фигурном катании, лыжах, легкой атлетике и т.д. Теперь же по теле и радио слышатся неуверенно-наигранно-бодрые оправдания дикторов и комментаторов, что «бронза — тоже неплохо, все-таки медали...». Может быть, лучше быть объективными, высказывая то или иное мнение и не пользоваться единственным нелепым аргументом, — если *советское*, то огульно плохое?

Известно, что линия жизни Ярослава Смелякова оказалась ломаной, но судьба любого заметного человека, при самых разных общественных формациях, практически никогда не вытягивалась в прямолинейную траекторию. Разве Пушкин и Лермонтов сильно обласканы монархией? И всегда восторг власти и толпы сопутствовал Сирано де Бержераку? А как был почти *вознесен* веселый поэт Франсуа Вийон?

Нет сомнения, что Ярослав Смеляков принадлежит к названной когорте личностей, он — яркий автограф своего времени. Взгляните, и не судите, — да не хулимы будете:

*У бедной твоей колыбели,  
еще еле слышно сперва,  
рязанские женичины пели,  
роняя, как жемчуг, слова... («Русский язык»)*

Или, в том же стихотворении, с бесконечной любовью:

*Вы, прадеды наши, в недоле,  
мукою запудривши лик,  
на мельнице русской смололи  
заезжий татарский язык.*

Это к тому, что имеющий уши — услышит...

